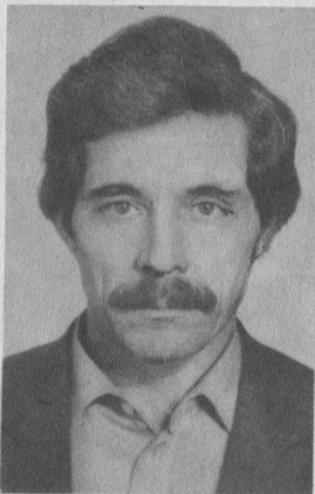




Леонид КРОХАЛЕВ



**ДЕНЬ ВПЕРЕДИ,
ДЕНЬ ПОЗАДИ**



Леонид КРОХАЛЕВ родился в селе Редуть Курганской области. Работал на Магнитогорском металлургическом комбинате. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Был корреспондентом студии телевидения в Норильске, в областной газете в Туле, заместителем редактора городской газеты в Серпухове.

Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

«День позади, день впереди» — первая книга автора.

Было бы легче, если бы рассказы Леонида Крохалева были посвящены одной теме, «привязаны» к одному месту, рассказывали бы о людях одной профессии или одного возраста. Тогда можно было бы написать, что автор в своей первой книге верен своим героям или тому-то месту. Нет, здесь очень хороший случай, когда каждый рассказ вводит нас в особый мир.

В прозе Леонида Крохалева я, как на рентгене, вижу его жизнь, его пристрастия, его позицию. И то, что он отстаивает, защищает, близко мне и дорого. Город и село, взрослые дела и детство, студенты и крестьяне — во всем видна достоверность описания. Автор пользуется не чьим-то, а своим жизненным капиталом, пишет, что называется, из первых рук.

Не хотелось бы влиять на впечатление, которое испытают читатели по прочтении книги, но помню, как поразил меня рассказ про дядьку Селёму и мальчика-инвалида. Истинно русская жалость и сострадание к обездоленному судьбой пробуждается в наших сердцах, затвердевших от впечатлений нервной, торопливой жизни.

Предисловие к книге, как дверь перед домом, населенным родными людьми. Прошу открыть эту дверь, ибо войти в «дом», созданный Леонидом Крохалевым, интересно и, как писали раньше, душеполезно.

Владимир КРУПИН.



Леонид
Крохалев

День впереди,
день позади

Рассказы

Москва
«Молодая гвардия»
1989

Художник: Ирина АНДРЕЕВА

Адрес редакции: 125015, Москва, Новодмитровская ул., д. 5а

© Издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия».
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1989
№ 11 (374)

Выпуск произведений в «Библиотеке журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» приравнивается к журнальной публикации.



ДЯДЬКА СЕЛЕМА

Я не знал, сколько мне лет. Мне было все равно сколько. Я жил, и мне было хорошо. Не болела бы ножка, было бы еще лучше. Вот и все...

Больше всего на свете я любил молоко. Мама уходила за ним в погреб. А я садился на лавку в передний угол, ставил локти на стол, на клеенку с полустертыми цветами, по которым ползали мухи, клал подбородок на руки и смотрел на дверь. «Вот сейчас дверь откроется, и мама принесет молоко. Вот сейчас,— думал я нетерпеливо.— Вот сейчас!..» Дверь сделана из двух широких плах и потемнела от времени, кованая в кузнице ручка ее вбита поперек в кромку левой плахи, а над ручкой — большой крючок, похожий на утиную голову; по бокам и сверху двери, к косякам, в самом притворе, прибиты туго связанные пучки камыша — это чтобы зимой было нехолодно.

Мне надоедало смотреть на дверь, и я ловил мух. Старался быстро, как делал отец, махнуть ладошкой по клеенке и зажать муху в кулаке. Потом нес кулак к уху, слушал: пусто или густо?

Неожиданно и громко скрипела дверь. Я радостно подпрыгивал на лавке и тут же морщился, хватался за колено, где становилось горячо от боли.

— Тихонько ты! Не прыгай. Сам себя бередишь,— говорила мама и тоже морщилась.

Я спрашивал:

— А ты че морщисся? Тебе тоже больно?

— Тоже,— отвечала мама и долго жалостливо смотрела на меня, потом спохватывалась, наливала в стакан молока из кринки, по бокам которой, как слезы, медленно катились капельки влаги.

— Че кринка мокрая? Она ревет?

— Отпотела, вот и ревет... Пей! Только не шибко. Глотки поменьше делай. Глотнешь и отдохни. А то горло заболит. Молоко из погреба да квас — вот и простуда в самый раз.

Я не боялся простыть и медленно, не отрываясь, цедил молоко сквозь зубы, делая маленькие-маленькие глотки, чтобы надольше хватило. Держал стакан обеими руками и то следил, как молоко в нем медленно убывает по стенкам, то скашивал глаза в окно, в открытую створку, в стекле которой весело играло солнышко. Вдруг на высокий дощатый забор ограды шумно взлетал наш рыжий большой петух. Он хлопал крыльями; я ставил стакан на стол; он вытягивал шею, наклоняясь вперед; я замирал и тоже вытягивал шею; он вскидывал голову и громко орал «ку-ка-ре-ку!»; я быстро, как мог, соскальзывал с лавки и устремлялся во двор, чтобы запустить в него щепкой.

— Осторожно, не упади, сынок! — говорила мама, и опять возле глаз ее пролегалы сеточки морщин, у рта появлялись глубокие складки.

— Не упаду! — отвечал я ей и, поджав одну ногу, прыгал на второй к порогу.

Мать смотрела мне вслед, и глаза ее блестели. Когда я оглядывался, чтобы махнуть ей рукой, она торопливо отнимала от лица запон и оглаживала его на животе руками, расправляла складки, которых на фартуке вовсе не было.

Я слезал по ступенькам крыльца, брал в руки щепку — их

много валялось на ограде после плотницких дел отца — и спешил на четвереньках к заплоту, где по моим расчетам сидел петух. Поднимал голову и замахивался: ох ты, варнак! Петух громко сзывал куриц к зернышку уже по другую сторону забора.

Горевал я в таких случаях недолго — попадись мне петух вдругорядь! — и прыгал к густому конотопу, мягким ковром устилавшему часть ограды, валялся на пушистой зелени, а потом лакомился «калачиками», по одному отправляя в рот мелкие, светлые, с ямкой посередке плоды-кругляшки. Когда «подножный корм» — так называл калачики папка — надоедал, я перебирался к стене дома, на горячую от солнца мягкую землю. Отец весной рассыпал завалину, и мне глянулось рыться в этой пушистой пыли. Курицы тоже любили это место. Они купались тут: ворочались с боку на бок, пурхали крыльями, земля брызгала из-под них, и они из белых делались серыми. После куричьего купания на земле оставались лунки. В одну из них мостился я.

Здесь, подле стены, было интересно. Тут был мой табун! Он копошился, двигался, ползал. Красные длинненькие жужелицы с круглыми точками на спине медленно ползли, огибая камешки, они собирались кучками на нижнем бревне стены, они ходили в одиночку и парами, сцепившись друг с другом. Я собирал стеколки, палочки и делал пригон. Жучки превращались в коров и жили в пригоне. Потом и это мне надоедало. Тогда я вспоминал о дядьке Селёме...

И мама, и папка зовут его Фоломой. Чужие дядьки и тетки, когда приносят ему подшивать валенки, — Варфоломеем Петровичем. А мне больше глянется звать его так: дядька Селёма. Глянется, и все! Я пробовал один раз назвать его дядькой Фоломой, а у меня все одно вышло — дядька Селёма. Он живет через два дома на другой стороне улицы. С пригорка от нашего палисадника я вижу двери его сеней и по ним определяю, дома дядька или нет. Если открыты — дома, закрыты — нет. Он почти всегда дома. Мне нравится, что он всегда дома. Я хватаюсь за штакетник палисадника, встаю в рост, вытягиваю шею, вижу открытую дверь сеней, сердце мое при этом радостно ёкает,

я быстро опускаюсь на «три кости» — это дядька так говорит — и спешу через улицу.

На дороге полнехонько песку. Песок горячий, и я зарываю в него руки. Ложусь на брюхо и засыпаю сперва одну руку до плеча, потом стараюсь засунуть в песок другую, но у меня не получается. Я сержусь, стряхиваю песок и бросаю его ладошками вверх. Подымается пыль. Песок попадает в глаза, я перестаю его бросать. Пыль потихоньку оседает. Я беру землю в кулак и сыплю ее на руку, светлая земля струится по руке с двух сторон, белые песчинки застревают в волосиках, волосики колышутся. Руке щекотно, я улыбаюсь.

— Эй, Колька! Берегись! Зашибу!

Я пугаюсь, оглядываюсь: на меня бегут лошади, между ними виднеются голова и плечи Витьки Семина, нашего соседа, он везет на бричке с колодой зерно с тока и правит к амбару за клубом. Витька натягивает вожжи, конец дышла подается между хомутами вперед, к лошадиным мордам, кони переходят на шаг. Я прыгаю на обочину дороги, оборачиваюсь и кричу:

— Витька, прокати!

Он улыбается и отвечает:

— Щас некогда, Колька. Тороплюся! На обратной дороге, может...

Я смотрю вслед колоде, доверху наполненной зерном, и завидую Витьке: вот он большой, едет на лошадях и правит вожжами.

— Н-но-о, радюма-и! — кричит он, передразнивая цыган, и уезжает.

Терпеливо жду я его возвращения, еще издали, завидев, машу рукой: прокати! Витька подъезжает и останавливается.

— Айда к нам, Колька! — кричат мне из пустой колоды ребятишки-одногодки, которых Витька взял возле амбара покататься.

Витька становится строгим и спрашивает у меня:

— А ты разве туто? Я думал, ты ушел уж...

— Туто! Туто! — радостно приподымаюсь я.

— Айда-айда, Колька, быстрее! — машут руками ребятишки.

А Витька хмурится и говорит все так же строго:

— Не, ребята. Кольке нельзя. Мать не велела брать. У ево нога болит. Ишшо разбередим в простой-то колоде... Вот разве с зерном когда вертаться будем, тогда...

— Ага, им можно, а мне нельзя! — Слезы катятся у меня из глаз.

— Нельзя, Колька. Никак нельзя. Не на ток мы... Далеко поедем... В бригаду! — Витька говорит вроде строго, а смотрит растерянно. Потом как бы о чем-то догадывается и радостно улыбается: — Давай лучше завтра прокатимся, а? По рукам?

— А ты не обманешь про завтра-та? — спрашиваю я с надеждой.

— Ну-у! Мое слово — закон! Дак по рукам?

— По рукам,— говорю я и смотрю на удаляющуюся колоду, в которой мотаются головы одногодков, поехавших с Витькой в «бригаду».

Тут я сразу, без остановок, иду к дядьке Селёме. Я всегда о нем вспоминал и шел к нему, если мне делалось дома тоскливо, если, как сейчас, меня не брали покататься на лошадях, если здоровые ребятишки, покрутившись иной раз в нашей ограде, удирали потом за речку, играть в войну. Дядька Селёма всегда выручал меня, он всегда был дома, и у него всегда было интересно. И он меня любит...

Воротца его ограды открывались просто: я дергал за сырмятный ремешок, продетый в дырку, брякало железо, воротца сами со скрипом уезжали влево. Я перелезал через доску, заложенную между столбиками, чтобы в низ ворот не убегали курицы, и смотрел на окно. Там, за горшком с кустистым алоэ, сразу появлялась бородатая дядькина голова. Он распахивал створку и говорил:

— Здорово, Кольша! Давно, брат, не видались. Заходи, гостем будешь! Токо воротцы запри, курицы утянутся, не соберем тогда.

Я закрываю воротца и прыгаю в избу.

На широкой лавке, у окна, как всегда, лежат хомуты, уздечки, валенки. Дядька Селёма не ходит в колхоз на «обчие» работы, он работает дома: шьет конскую сбрую, а пимы заказывают деревенские.

Его деревянная нога, как обычно, валяется рядом с опрокинутой на бок табуреткой. На табуретке лежит фуфайка, ему ловко так сидеть и работать. Я тоже люблю садиться на эту табуретку с мягкой фуфайкой: похоже на куричью лунку.

— Опять отстегнул? — указываю я на самодельный деревянный протез.

— Опять, Кольша. Мешат проклятая! А ты о чем там, на дороге-то, с Витькой баял?

— Покататься просил. Он сказал — завтра.

— А-а, ну тогда ладно.

Я отодвигаю от табуретки дядькину деревяшку, чтобы она не мешала мне забраться на лавку. Притрагиваюсь к ней осторожно. Мне всегда боязно ее брать, все кажется, что она живая...

Как-то я спросил у него:

— Дядька Селёма, а пошто у тебя друга нога деревянна?

Он поглядел на меня и сказал:

— Немцы мне-ка таку сделали...

— А мне они могут сделать таку?

— Не, парничек, тебе, слава осподи, таку уж не сделают...

— А пошто? Мне надо!

— Пошто-пошто... По то! — сказал дядька сердито. — Вот вырастешь большой, тожно узнашь!

Потом погладил меня по голове.

— Я сам тебе излажу. Да не одну ногу, а две!

— А ты разве умеешь ноги делать?

— А как жо? Умею. Излажу, увидишь вот...

Дядька Селёма скатывает дратву. Зацепил светло-зеленую конопляную нить за гвоздь в простенке, один конец нитки держит в зубах, другой трет ладонями, закручивает.

— Давай поддержку, — говорю я.

Дядька улыбается и качает головой:

— Два инвалида собрались, ну, работа, держись! На! Только смотри, не отпусти!

Мы долго крутим нитку. Потом дядька складывает обе половинки вместе, слюнит концы и разжимает кулак. Фыр! — скручиваются две нитки в одну. Дядька Селёма берет кожанку с ва-

ром и шоркает светло-зеленую рубчатую дратву, она становится черной, блестящей и гладкой.

— Вдень-ко в иголку, помощник. У меня глаза плохие, а у тебя вострые, быстрее получится.— Он подает мне дратву, а сам тянется к деревянной ноге, достает и начинает пристегивать.

— Ты куда?

Дядька хитро улыбается:

— На кудыкину гору, вот куда! — И со стуком припадая на деревяшку, выходит в сени.

Я высовываю язык и стараюсь вдеть дратву в большущую иголку. Ушко у иголки широкое, но острый конец дратвы все равно загибается и никак не хочет в него пролезать. Когда вошел дядька, я даже не оглянулся.

— Ну-ко, племянничек, гляди, что я тебе изладил,— сказал за спиной дядька и стукнул чем-то по полу. Я оборачиваюсь: в руках у него — маленькие костыли.

— Вот тебе две ноги! Помнишь, сулил? Ходи на здоровье... Поминай дядьку Селёму...

В концы костылей вбиты гвозди, по полу они не разъезжаются, зато выскакивают из-под мышек. Я долго не могу с ними справиться, ковыляю по избе, осваиваю дядькины ноги. А он сидит на своей перевернутой табуретке, смотрит на меня и то улыбается, когда я радуюсь удачно сделанному шагу, то отворачивается и трет глаза, будто в них попала соринка.

— Хватит токо! — говорит он наконец.— Сладкого не досыта, горького не до слез. Потом доучисься, а сейчас работать давай. Умеешь пимы-то подшивать?

Я сажусь рядом. Тут дверь скрипит, я оглядываюсь. Держась за косяк, через порог переступает Дуняшка-бомба. Она живет недалеко от нашего дома и все время сидит на лавочке возле своей избушки. Сидит и греет на солнышке толстущие, как бревна, ноги. Мама говорит, что у нее водянка, и я всегда думаю, что же это Дуняшка кожу себе иголкой не проткнет и воду не выпустит? Сразу бы тонкая стала!

Дуняшка перелезает через порог и, отпыхиваясь, переваливаясь, как утка, проходит в передний угол, садится на лавку, показывает на мои костыли:

— Ишь какой дядька-то у тебя умной. Ловко придумал! Мне бы тоже како-нить приспособление смастерил, ли што ли? Все бы легче ходить-то было. Фу-у-у...

Дядька Селёма смеется:

— Я тебе телегу сделаю! Запрягешь парой, может потянут. Ну чё, за пимами пришла?

— Да думаю, узнать вот надо... Подшил, ли што ли?

— Эко, хватилась! Неделю назад... Я эть передавал тебе через сестру. Не сказывала разве?

Дуняшка засопела.

— Сказывала, сказывала... Скоко за работу-то запросишь?

Дядька молчит, потом говорит:

— Ты же, Дуня, мою цену хорошо знаешь... На полчекушки!

Дуняшка снова сопит. Она сроду так. Дядька скажет про деньги, она сопит.

— Очумел, мужик! Корыстны ли доходы у меня? Токо яйца в сельпо да картошку кому заезжему...

Дядька беззлобно хмыкает:

— Да я, Дуня, твою экономию не хуже тебя знаю. Токо я эть тебя к себе не тяну. К другому иди, кто за дешевше возьметя.

Дуняшка укоризненно качает головой, потом лезет за пазуху.

— Чемер бы тебя взял! Все не нальешься никак. Заклебнешься жо когда-нить заразой этой!

Она достает из-за пазухи мятую белую тряпицу. Уголок тряпицы завязан узлом. Дуняшка тянет за узелок зубами и, развернув его, бережно берет пальцами сложенные квадратиком бумажные деньги, а на ладонь высыпает мелочь. Отсчитав рубли, протягивает дядьке. Потом берет с ладони железные денежки и тоже протягивает. Дядька сидит не шевелясь. Дуняшка бросает денежки на лавку, но одна копейка скатывается и звякается на пол, под лавку. Я лезу туда и нахожу ее. Хочу отдать дядьке, но он говорит:

— Тете Дуне подай, Коля.

Я подаю.

— Што уж тамо,— говорит дядька.— Мелочь не будем считать.

Берет с лавки денежки, подает Дуняшке. И опять сидит какое-то время молча, опустив голову и прижав седую бороду к груди, потом говорит:

— Вот ты, Дуся, все воспитываешь меня... Не нальешься, мол, да захлебнешься. А я те так скажу. Там...— Он хлопает ладонью по деревяшке.— Жив остался. А здесь...— Он обводит рукой передний угол, где сидит Дуняшка и стоит дощатый стол с квадратными ножками, и куть, где на стенке возле большой печи висит шкапчик без дверки с одной полкой, а на полке стоят рядом маленький берестяной туесок с солью и самодельная жестяная кружка — высокая, узкая консервная банка с приклепанной ручкой.— Здесь уж как-нибудь...

Дуняшка берет свои пимы с разрезанными почти до половины голенищами и уходит. Дядька долго провожает ее в окно взглядом. Смотрю и я, как она бредет по улице, неловко переваливается с боку на бок и загребает ногами песок. Дядька говорит непонятно:

— Ох-хо-хонюшки-хо-хо-о...— и принимается подшивать другой пим.

Я люблю смотреть, как он работает. Коротким острым ножом он отрезает кусок голенища от старого пима, прикладывает его к подошве не совсем старого, прокалывает шилом дырку и продевает в нее две иголки с дратвой: одну иголку снаружи — внутрь пима, другую изнутри — наверх подошвы. Изнутри он долго нащупывает дырку концом иголки — темно там, ничего не видно! — и я всегда с нетерпением жду: найдет или не найдет? Он находит, я радуюсь. Так обходит он иголками один круг, потом другой, поменьше, потом делает строчку посреди пришитого к подошве куска. Таким же манером пришивает и каблук. Наконец обрезает ножом неровные края заплат на подошве, каблуке и протягивает готовый пим мне. Я поглаживаю пальцем ровные-преровные строчки, говорю: «Баско!», и мы делаем перекур. Дядька Селёма отрывает клочок газетки, загибает у четвертушки краешек, насыпает в изгиб махорки, сворачивает сигарку и долго слюнявит ее. Дымит. А я обновляю пим: сую в него

здоровую ногу и скольжу по полу, держась за лавку. Скольжу и смеюсь. И дядька смеется. Потом кашляет. Кашляет долго-долго. Я знаю, что в грудь ему тоже стреляли немцы и под рубахой у него, возле левого плеча, две ямки: спереди — маленькая, а со спины — большая, неровная, будто клещами вырвано. Я был уверен, что дядька кашляет только из-за этих ямок. Мама говорила — от какой-то чахотки. Я хотел представить эту чахотку и не мог. Вспоминалась лыковая вехотка *, какой мама терла мне спину в бане. Но как от вехотки можно кашлять? Как она в грудь попадет?

Когда он перестает кашлять, на глазах у него блестят слезы. Он вытирает их кулаком, смешно кривя рот. А я весело дразню его:

— Слезки на колески! Слезки на колески!

Всегда после кашля он протягивает руку к подоконнику, где в большом широкогорлом горшке растет ядреное алоэ, отщипывает листочек, жует и морщится. Спрашивает у меня:

— Хошь попроведасть?

— Дай.

Я жую и тоже морщусь.

— Ой, горько как! И зачем ты ешь?

— Пользу, бают, Кольша, дает. Кашель сымат. Вот и ем.

— А-а...

Я научился ходить на костылях. И даже бегать. Бегать худо. Но все равно с костылями лучше, чем без них. Теперь кожу на речку и купаюсь. Речка мелкая, всего до колена, но купаться лучше, чем в Тоболе. До Тобола надо переться через всю деревню, там глубоко, можно утонуть, а тут спустился под горку и купайся сколько влезет. За речкой растут чилиги, густые-густые и высокие-высокие. Наши деревенские ребятишки играют там в войну. Разведчикам в чилигах прятаться хорошо. Хочешь, ложись и жди врагов, хочешь, стой — все равно не видно. Ребятишки берут и меня играть, но всегда говорят, что я буду часовым. Мне очень

* Здесь: мочалка (сиб.).

хочется быть разведчиком, но я терпеливо стою возле чилижного куста, нашего военного склада, и охраняю его. Охранять не страшно: у меня же две винтовки! Хорошо, что дядька Селёма сделал два костыля — в одной винтовке патроны кончатся, из другой буду стрелять. Если у кого-то из ребятишек нет оружия, они просят у меня костыль, и я даю.

В тот день мама с папкой ушли на покос. Мама сказала: «Захочешь есть, иди к Фоломе, он накормит». Я кивнул и пошел за речку играть в войну.

Ребятишки как раз делились на команды. Генка Синицин и Шурка Рыбин, самые старшие, уже учились в школе, были командирами. Они стояли рядом, а ребятишки расходились парно в разные стороны и шептались. Потом они подходили к Генке с Шуркой и спрашивали: «Шуба или сапог?», или: «Бревно или топор?», или: «Дверь или замок?», или еще что-нибудь, и Генка с Шуркой отгадывали. Если Генка говорил: «Шуба!» — шуба отходила налево, к Генке, а сапог — направо, к Шурке. Потом Шурка говорил: «Топор!» — и топор отходил направо, к Шурке, а бревно — налево, к Генке.

Мне пары не хватило. И Генка с Шуркой заспорили, в какой команде я буду играть. Они решили тянуть жребий: у кого окажется длинный прутик, у того я и буду. Генка отломил от чилижины две палочки и отвернулся, чтобы Шурка не видел, как он зажмет в кулаке прутики.

— Эй, возьмите меня! — послышалось с противоположного обрывистого берега речки. Оттуда машет мешком и кричит нам Витька Баранов. Генка с Шуркой не любят его: он тоже учится в школе и тоже всегда хочет быть командиром. А потом Витька драчун, всегда к чему-нибудь прицепится и давай кулаками махать. Но сейчас обоим, раз они командиры, захотелось взять его в свою команду.

— Айда! Айда, Витька! Айда быстрее! Вон с Колькой хромым поделишься. Ему пары не хватило! — закричали они наперебой.

Витька прыгнул прямо под обрыв, проехал на спине и перебрел речку. Мы отходим с ним в сторону, и он говорит шепотом:

— Я буду этот костыль, а ты — этот.

— Ладно,— соглашаюсь я.

Жребий отгадывать выпал Шурке. Он показал на Витькин костыль, я отошел и встал рядом с Генкиной командой.

У всех уже было какое-то оружие: у кого деревянный пистолет, у кого автомат, у кого винтовка. У одного Витьки ничего нет. Он не собирался играть в войну, мать послала его за кобылятником * для поросенка, а он увидел нас и решил поиграть.

— Хромой! Дай мне один костыль!

Был бы это кто-нибудь другой, я бы и думать не стал, сразу дал бы, и все. А Витьку я не люблю. Его все не любят. А я особенно. Он редко зовет меня Колькой, почти всегда хромым. Другие ребята тоже так говорят, но я не обижаюсь, они говорят так просто, чтобы понятно было, что это я, а не кто-нибудь. А Витька всегда н а з ы в а е т, и мне обидно.

Я насупился и сказал:

— Не дам!

— Это пошто?

— Ага, наша команда в наступление пойдет. А я тогда как?

Витька засмеялся ехидно и говорит:

— Ты и без их умеешь. Я видел, как ты через дорогу прыгаешь,— только пыль стоит!

— Ну и что, что умею? А в войнушку не хочу так играть! Вот!

— Да ладно тебе! Будешь тут выкобеливаться! В наступление ему... Возле склада и так постоишь!

Он схватил один костыль и стал вырывать его у меня. Я не отдавал. Тогда он крутанул костыль, руке стало больно, и я отпустил. Мне сделалось душно от злости, и я дал вторым костылем Витьке по ногам. Он ойкнул, сморщился сперва, а потом занаступал на меня и, вытянув голову вперед, заорал:

— Ох ты, гаденыш! Ты на кого руку поднял? На ме-ня-а?!

Я съежился и видел только Витьку и больше никого. Удар пришелся в нос. Я не удержался и упал на спину — ногу, как из ружья, прострелило. Я стиснул зубы и смотрел снизу на

* Широколистое растение, кобылий щавель (сиб.).

Витьку во все глаза. А он наклонился надо мной, занес руку с костылем:

— Ка-а-ак дам! По сопаткам! Голова отскочит! Хромоножка несчастная!..

Сзади на него налетели сразу Генка и Шурка. Они оттолкнули Витьку и встали между ним и мной.

— Озверел, что ли? — сказал ему Генка. — Отдай Кольке костыль! И убирайся отсюда, без тебя поиграем!

— А вот этого не хотели вместо костыля? — Витька показал им кукиш. Генка шагнул к Баранову, но Витька замахнулся костылем:

— Подойди попробуй!

Генка остановился, а Витька повернулся и побежал с костылем, только чилиги затрещали.

Ревел я взахлеб. Хватал воздух, а его было мало. Ребятишки окружили меня и что-то говорили, я не разбирал слов. Ревел долго. И мне очень хотелось быть Ильей Муромцем, про которого мне рассказывал дядька Селёма. Вот был бы им, изрубил бы Витьку мечом на куски. У Ильи Муромца тоже ноги сперва болели, а после он попил живой воды из ковшика и вылезился, и стал богатырем, и татар мечом рубил. Я вот тоже попою такой воды и стану силачом, и уж тогда держись, Витька! Так я думал и плакал. Потом встал и, опираясь на один костыль, пошел жаловаться дядьке Селёме. Ковылял, ревел, и все было мало воздуха. Когда я хотел вдохнуть его побольше, меня словно судорогой сводило.

Дядька встретил меня у ворот ограды.

— Кто отобрал? — сразу спросил он. Я сказал.

— Ох он, посельшик, туды его мать! Ну я ему щас! погоди меня тут! — дядька Селёма, изгибаясь назад, зашагал по улице. Деревянная нога его глубоко проваливалась в песок, а он все шагал и шагал.

Не было его долго. Я успел убить Витьку много-много раз, покамест вернулся дядька. Пришел он без костыля.

— Мать говорит, за травой пошел. Ну, ничё, ты не расстраивайся. Сказал матери, пусть костыль вместе с им принесут. А не придет Витька, я все равно его как-нибудь достану. Не реви, не

порти глаза, они тебе и мне ишшо пригодятся — дратву в иголку вдевать...

Он накормил меня вареной картошкой в мундирах с огурцами и молоком. Потом мы работали и ждали Витьку. Дядька Селёма шил хомут и рассказывал про настоящих разведчиков. Я слушал и все поглядывал в окно: не идут ли Витька с матерью?

Мама с папкой пришли с покоса поздно вечером. Дядька Селёма рассказал им про все. Папка встал и хотел идти к Витьке домой. Тут пришла его мать и принесла костыль.

Дядька Селёма спросил:

— А сынок твой где?

— Да ить он бросил в поле костыль-то. Пришлось ждать, покуль сбегает да принесет. А в ограду-то с костылем и не зашел больше. Фурнул через прясло, а сам упорол. Кои поры уж, а его все нетука... Да вы не сумлевайтесь, я ишшо даве за уши его надрала. Уши-то в руках у меня чуть не остались,— затараторила Витькина мать.

Дядька Селёма взял костыль, пристукнул им по полу и, глядя в пол, будто прислушиваясь к звуку, сказал:

— Ты бы, Елена, побольше за парнем смотрела.

— Дак когда?! Днем с самого ранья в колхозе! А вечером... То коровешка, то огород, то то, то сё...

— Вот то и есть, што то да сё... А парень от рук отбивается. Я тебе, конечно, не указчик. Но все ж таки прямо скажу: поболе, поболе надо за парнем глядеть!

Прошло много дней. Я уж и забыл про то, как Витька отобрал у меня костыль. Опять играл с ребятишками в войну за речкой в чилигах. И Витька с нами играл.

Вечером как-то к нам пришел дядька Селёма. Мы ели, и он сказал:

— Я сегодня обидчика твоего маленько за ухо потрепал, про костыль ему напомнил...

Я рассмеялся радостно. А мама осторожно опустила ложку на стол.

— Ты чё жо это, Фолома, бог с тобой... Кабы он не сирота был, тогда ладно. А так от людей нехорошо.

— Ну вот! Разобьяснить мне будешь! Я с Василием-то в один

день уходил... Да ты не думай: я эть токо так, для острастки, чтобы к Кольке больше не приставал. Сказал ему, мол, оба вы судьбой обиженные. А раз живете в одной деревне, вам не ссориться, а друг за друга стоять надо... Вроде понял...

Мама покачала головой с сомнением.

— Да где-ка там, поди. Корыстен ли ум-от...

Не знаю, сколько времени так прошло, а нога все не переставала болеть и болела все сильнее. Теперь я не мог разогнуть колено, так и ходил с согнутым, и спал так. Сперва мама успокаивала меня, говорила: «Потерпи, пройдет, заживет до свадьбы». Теперь просила: «Вспомни, ушиб где, может?» Я старался вспомнить. Вспоминался теленок возле палисадника. Он лежит и жует жвачку, а я с разбегу — прыг ему на спину, как на лошадь. Теленок пугается, вскакивает, я лечу на землю. Может, здесь ушиб, а может, еще где... Не знаю... И мама с папкой не знают...

Мама плачет, папка ругается: не углядела парнишку! И все мы не знаем, как вылечить мою ногу. Даже наша деревенская медичка тетя Катя и та не знает как. Дядька Селёма тоже не знает, но он все равно говорит: надо лечить!

— А как? — спрашивает мама.— Я уж и то и се прикладывала, примочки делала, не помогает. К бабке Карелье водила править. Как еще-то?

— Как-как... В город надо ехать, к врачам — вот как!

— Дак на чем ехать-то? Была бы своя лошадь, взял бы да поехал...

— Ну неужто в колхозе не дадут?!

— Уборка же...

— Во заладила! Уборка... Ехать надо! Я и твоему Михаилу это же говорил. Просить надо — дадут. Смотрите, загубите парня!

— Ох, братец, братец, головушка кругом идет...

Я стал реже ходить к дядьке Селёме. Больше сажу в избе или у завалины, возле своего «табуна». Зато дядька Селёма стал приходить к нам почаще. Он приносит мне вырезанных из пима

зверей и птиц. Дядька с папкой пьют водку и разговаривают, как со мной быть. Я сперва прислушиваюсь, а потом играю с этими зверями и птицами — хожу в лес на охоту.

Потом мне хочется сбежать к кузнице и посмотреть на трактор с большущими железными зубастыми задними колесами. Я беру костыли и говорю папке, что пойду смотреть колесник. Он качает головой:

— Не, сынок, сегодня отдыхай. Завтра поедешь с матерью в город. Дорога не ближний свет, отдыхай!

Мне опять становится интересно, я сажусь рядом.

— А какой он, город?

— У-у,— весело говорит дядька Селёма,— город большой! Сто раз больше нашей деревни. Курган называется. Тамо много больших каменных домов, они высокие, как наша церква.

— Не-е,— говорю я недоверчиво.— Не обманешь! Таких домов нету.

— А вот поедешь, увидишь. Потом сам мне рассказывать будешь,— улыбается дядька Селёма. И папка улыбается. Мне очень хочется увидеть город, и я тоже улыбаюсь:

— Ладно, расскажу!

Лошадь нашу конюх Степан запряг в дрожки*. К настилу дрожек смоленной бечевкой привязан ивовый плетеный короб с высокими краями. Он походит на колоду, в какую не посадил меня покататься наш сосед Витька Семин. Только в коробе не пшеница, а сено, сидеть на нем мягко. Вот уж накатаюсь теперь, думаю я, до города-то, поди, подальше, чем до бригады.

Ехали мы с мамой долго, целый день, даже надоело, и все равно до города не доехали. Ночевали в какой-то деревне у теньки, а утром опять поехали. Лошадь вывезла нас на высокую дорогу, и мама сказала:

— Ну вот и тракт.

— Трактор?

— Да не, тракт. У дороги назовь така...

* Легкая повозка для быстрой езды.

По тракту навстречу нам реденько ехали подводы. А потом показалась сильно большая машина. Я привстал в коробе и смотрел на диво во все глаза — у нас в деревне бывали только полуторки, да и то редко.

— Сядь ладом! Выпадешь! — строго сказала мама и натянула вожжи. Наша лошадь остановилась и задрала голову, прядая ушами.

Машина гудит все громче. Я уж хорошо вижу дядьку-шофера. Машина зеленая, и у нее решетки на фарах. Вот она сравнялась с нами. Бах! Стреляет. Я вздрагиваю. Мама заполошно ухает. Дрожки резко наклоняются и мчат с высокой дороги вниз — лошадь понесла через поле, к лесу.

Дрожки сильно трясет. Мама тянет вожжи и кричит:

— Тпру-у! Стой, окаянная! Тпру! Тпру! Да куда ж ты!.. Тпру-у!

Вижу: лошадь высоко взметывает ноги, бросает копыта вбок, стучает ими в оглоблю, голова ее задрана вверх и в сторону, круглый глаз косит назад, от пенных губ к маминым рукам протянулись струны вожжей. Потом я кубарем качусь к задней стенке короба и больше ничего не вижу: ни копыт, ни конской головы, ни вожжей — ничего, кроме маминых глаз, они мечутся то назад, ко мне, то вперед, к лошади. Глаза у мамы... Я никогда таких не видел...

Дрожки швыряет, они мчат то прямо, то боком и летят к лесу. А перед лесом видно овраг. Он ближе, ближе, ближе. Зажмуриваюсь, вдавливаюсь в сено. Слышу, как мама кричит, дрожки резко наклоняются вперед, я качусь к маме, она хватает меня одной рукой, открываю глаза: овраг совсем рядом, он глубокий, зарос кустами, лошадь присела и дрожит, передние колеса брички провалились в яму. Мама далеко отбрасывает вожжи, прячет лицо в мою рубаху и трясется вся, а рубаха моя становится мокрая...

Дядька Селёма не обманул: в городе на самом деле много каменных домов. Они совсем не похожи на наш каменный амбар за клубом и высокие, как церковь, и даже выше. Возле одного мы остановились.

Дядька в белом халате больно щупал мою ногу, хотел разогнуть колено, я кричал, а он говорил:

— Ну-ну! А еще говоришь — герой!

Потом он подал маме бумажку:

— На рентген!

Я испугался. А рентген оказался совсем не страшным, даже интересным, только холодным.

Тот же дядька в белом халате долго смотрел у окна прозрачно-темное с белыми полосами гибкое стекло, потом сказал:

— Что же вы, мамаша, так поздно? Туберкулез тазобедренного сустава. И очень запущенный. Будем накладывать гипс. Процесс долгий, конечно, придется выпрямлять в несколько этапов...

Мама заплакала и стала говорить, что я жаловался только на коленышко.

— Это ничего не значит,— сказал дядька.— Коленные сухожилия стянуты, это естественно.

Я понял только, что останусь один, без мамы, и заревел. Мама прижала меня к себе, вытирала слезы и мне, и себе и все говорила:

— Ну не плачь, сынок, не плачь. Я туто, туто... Не плачь... Туто я пока ишшо...— и спросила у дядьки: — А может, можно мне с им? Хоть как? На одной кровати, может? Ну, хоть как-нить, маленький жо...

— Нет, нельзя! — сказал дядька сердито.

— Ах ты, господи! Горюшко-то какое...

Ногу мне замазали белой глиной, и она стала каменная, как стена. Я лежал несколько дней в палате. А потом глину разрезали, содрали с ноги, давили на колено, я кричал и кусал теток в белых халатах, которые меня держали, а ногу опять замазали и отвезли меня в палату.

В палате было много народу. Сперва я никого не знал, а потом всех узнал, но все равно мне очень хотелось домой. Я говорил маме, когда она приходила, что мне хочется домой, но мама все никак меня не забирала, только плакала и говорила: «Сынушко, родной мой, ну потерпи Христа ради, да што это за наказание, осподи ты боже мой...»

Приходит она редко. А я ее всегда так^{то} шибко жду. Мама приносит всякой еды: сдобных каралек, шанежек, много всякого-разного, но больше всего мне глянутся конфетки и компот в банках.

А еще каждый раз она говорит:

— Дядька Фолома тебе бо-ольшу-ущий привет передает! И тоже гостинец прислал. Наказал мне, отдай, мол, прямо Кольше в руки! — И мама достает из сумки какую-нибудь новую игрушку.

Все дядькины подарки я храню под подушкой: и деревянный наган, как взаправдашний, и маленький деревянный колесник, и медведя, и волка, — лишь лошадь с уздечкой и хомутом, запряженную в настоящую, только маленькую, телегу с колодой, я боюсь класть под подушку и ставлю на тумбочку, чтобы не раздавить.

Один раз я спал, и мне снился сон, что я играю в войну за речкой в Генкиной команде. Я разведчик и ползу по чилигам, чтобы разузнать, где они засели, вдруг сзади меня хватает кто-то за плечо, я оглядываюсь — это Витька Баранов, он нагнул голову и собирается меня бить, и тут на голове у него быстро-быстро вырастают рога, и это уже не Витька, а теленок, он хочет меня забодать, а я не могу пошевелиться, кричу, и голоса нет...

— Просыпайся, разведчик! — говорит кто-то знакомый-знакомый и тихонько смеется. Открываю глаза — за плечо меня трясет дядька Селёма! Глаза его весело щурятся и светятся. Он сидит на табуретке рядом с моей кроватью, деревянную ногу оттопырил в сторону, а на широкое от зимних стезжоников колено другой ноги положил большую толстую книжку.

— Чё это?

— Дак книжку вот тебе с цветастыми картинками купил!

— Мне?!

— Тебе! Хватит, думаю, ему лошадей да волков делать, дай-ко книжку с картинками привезу. Пушай смотрит. На, держи!

У меня никогда не было книжек, и я беру книжку осторожно, разворачиваю и ахаю: картинок там уйма, да все хорошие! Мы вместе с дядькой Селёмой долго разглядываем каждую картинку:

большие корабли с парусами и пушками, богатырей, которые выходят из воды в рыбьей чешуе, белку в клетке.

— Почитай-ко!

Дядька читает:

— «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...»

Я слушаю, открыв рот, слушаю до тех пор, пока дядька не говорит:

— Все, Кольша! Кончилась книжка.

— Давай сначала!

— Не, Колинька, иди мне пора. Поздно уж, врачи ругаться будут.

Он выкладывает из сумки на тумбочку еду, а я зарываюсь лицом в подушку и начинаю громко сопеть. Мне не хочется, чтобы дядька Селёма уходил. Или пусть меня забирает с собой! Я так ему и говорю:

— Дядичка, родименький, возьми меня отсюда!

Дядька сперва молчит, а потом отвечает:

— Да как же я тебя возьму, Кольша?

— На ручки возьми!

— Да ты подумай сам, упадем мы с тобой! Подведет меня моя деревяшка, и упадем.— Дядька Селёма говорит вроде весело, но через силу.— Вот стуку-то будет! Свалимся да загремим по полу — я деревянной ногой, ты каменной. Ишшо пол проломим!

Мне не смешно.

— Не упадем! Забери ты меня...

— А врачи остановят, отберут.

— А ты их шилом!

— Да эть я ево дома оставил.

— Все одно забери!

— Коля, а Коля, давай ишшо книжку читаем,— говорит он.

— Не хочу книжку! Домой хочу!

— Да не оздоровел ведь ты ишшо! А тебе крайне оздороветь надо. Ну кто оно тако мы с тобой сейчас-то? А когда оздоровеешь, своими ножками пойдешь...

— Не хочу! Домой! — хватаю я его за пиджак.— Мама не забрала, ты забери. Ты большой, ты с врачами справился!

Дядька Селёма сидит, молчит и смотрит на меня тоскливо.

Потом спрашивает:

— А хошь, я тебе другой наган сделаю?

— Какой? — затихаю я.

— А такой, чтобы горохом стрелял.

— Хочу.

— Обязательно привезу его тебе в следующий раз...

Я опять кричу:

— Не надо наган! Забери меня!

— Не могу я, Коля, не могу, пойми ты меня!

Я смотрю на дядьку, а внутри у меня все кипит, и я со злостью говорю:

— Не любишь ты меня! Не любишь!

— Вот те раз, Васенев Тарас, — тихо говорит дядька. Я хорошо помню Тараса, нашего деревенского мужика, и хоть он грозит всем пакостливым ребятишкам оборвать уши, мне все равно хочется домой еще сильнее. А дядька все сидит возле моей кровати и все смотрит, и смотрит в пол. Потом хлопает ладонью по колену:

— Ладно! Я сейчас с врачом пойду посоветуюсь, а опосле, ежели он разрешит, лопотину твою у сестриц возьму и заберу тебя, раз уж так просишь.

— Не обманываешь? — замираю я радостно.

— А омманул я тебя хоть раз? — спрашивает дядька Селёма и смотрит строго.

Я не помню, чтобы дядька меня обманывая, вытираю кулаком нос и смеюсь:

— Не обманывал! Ну иди, да быстрее вертайся!

Он встает и, изгибая назад, идет из палаты, стучая громко по полу деревянной ногой и не оглядываясь...

Я не свожу глаз с дверей палаты и жду: вот придет с моей одеждой дядька Селёма и заберет меня домой. Уж он-то придет и заберет, он никогда меня не обманывал. Вот придет, вот придет... А дядьки Селёмы все нет и нет. Вдруг дверь открывается.

«Дядь!..» — хочу крикнуть я, но вижу, что входит медсестра. Так повторяется много раз: дверь открывается, я устремляю на

нее глаза, а входит не дядька Селёма, а кто-то другой. Наконец я понимаю, что он не придет, укрываюсь с головой одеялом и долго тихо плачу: обманул дядька Селёма, первый раз обманул...

Деревья за окном стали опять зелеными. Утром однажды пришла мама и сказала, что мы поедем домой. Я очень обрадовался, и мама радовалась. Но пока мы собирались, на глаза ей нет-нет и навертывались слезы.

— Ты чё? — спрашиваю я.

— А чё? — вскидывается она.

— Чё плачешь-то?

— Да не, тебе померещилось. Чё мне плакать-то? Ты со мной. Мы домой едем.

Мы поехали на попутном бензовозе, который вез в нашу сторону горючее. Когда подъезжали к нашей деревне и увидели белую каменную церковь с двумя куполами, широким и узким, мама сказала:

— Сынок, Фолома же умер... Чахотка замыаля... Севодни похороны...

Я не поверил ей. Не поверил и тогда, когда увидел в гробу дядькину бородатую голову. Я хотел подойти к нему, потрясти за плечо и сказать:

— Не балуйся, дядька Селёма! Вставай! Ты чё лежишь-то?

Мама не пускала меня, а когда я вырвался и, растолкав людей, подошел к нему на костылях, которые сделал мне он и которые стали коротки, пока я лежал в больнице, и поглядел на его желтые веки и острый какой-то нос, тут только во мне что-то оборвалось, я стукнулся лбом о гроб и заплакал.

Проплакал я всю дорогу, пока ехали на могилки. Я негромко плакал. Просто сидел на телеге рядом с желтым струганым гробом, который пах смолой, и слезы сами катились у меня из глаз. «Дядичкя, дядичкя, дядичкя...» — повторял я. Перед глазами вставала раскрытая дверь сенцев, гроб и лошадь скрывались в тумане набегающих слез, я стирал их кулаком и швыркал носом. А потом опять видел распахнутую дверь, и опять все было как в тумане.

Когда могилку закопали и мы поехали обратно домой, я сказал маме:

— Вот вырасту большой, буду, как дядька Селёма, шить хомуты и валенки подшивать...

— Ладно, ладно, сынок,— сказала мама.— Вырасти сперва...

Я еще не знал точно, сколько мне лет, и когда меня спрашивали об этом, я терялся, показывал то все пальцы на руке, то меньше, но зато я хорошо знал, когда смотрел на закрытую дядькину дверь: если я ее открою, уж никогдашеньки больше он не скажет: «Здорово, Кольша! Давно, брат, не видались!»

ДЕНЬ ПОЗАДИ, ДЕНЬ ВПЕРЕДИ...

Один оставаться дома Колька не любит. И потому сидит за столом, где только что завтракал, выструнив локти и ладони по краю столешницы, исподлобья следит за сборами матери. Она насыпает соли в пустой спичечный коробок, кладет его на чистую тряпицу рядом с куском калача и вареными яйцами, быстро свертывает крест-накрест концы тряпицы и связывает узелок. Взглядывает на Кольку:

— Да не взбуривай ты так! Мы же не на век... А хошь, я тебе от заюшка гостинице принесу?

— Гостинице? А какой?

— А уж это не знаю. Какой он сам даст, такой и принесу. Скажу ему: Коля мальчик умной, один домовничат, дай, заюшко, гостинице получше.

— Мама, а ты попроси у него это, знаешь што...— Колька лихорадочно чешет затылок, в голове его мелькают пряники, конфеты-подушечки, которые иногда привозят в магазин, да все это не то — вдруг видит большой корабль с парусами и квадратными бойницами для пушек по бокам...

За воротами кричат:

— Тоньша, айда! Тоня, слышишь? Мы уж тут!

Мать наклоняется к окошку, заглядывает в него сбоку и стучит в раму кулаком, кричит тоненько:

— Слышу, бабы! Иду-у!

— Ага-а! А я опять один! — Колька срывается с лавки, с маху торкается плечом и бедром в избяную дверь, вылетает в темные сени, оттуда — на крыльцо, дробит голыми пятками по ступенькам. Вымахнув на середину ограды, останавливается

растерянно. Сердце сдавливается. Вот мать сейчас уйдет, а ему придется весь день пробыть одному-одиношеньку. Он смотрит на крыльцо с последней надеждой: может, передумала, не пойдет в бор?

Мать показывается на крыльце, в руке она держит за дужки две корзины. Подходит к Кольке, ставит корзины на землю — в одной лежит узелок. Она стягивает с головы синий платок, зажимает уголок его в зубах и, пока перекручивает на затылке хвост длинных красных, как медная проволока, волос, завивает их в шишку, закалывает гребенкой, говорит:

— Смотри, на Tobол не бегай, а то утонешь... Хлеб на столе. Картошка вареная в чугушке на лавке у шотка стоит. И простокиша там же, рядом, под тряпицей. Ешь! И домовничивай тут ладом... Куриц в огород, смотри, не пускай! Да не забудь, поросенка накорми! Варено в сенах...

— То-ня-а! Где ты там? — слышится опять из-за ограды.

Мать оборачивается на голос:

— Иду, иду-у! — Быстро повязывает платок, подхватывает и вешает на локоть корзины.— Ну, господь с тобой, сынок, пошла я...

— Я с тобой! — решительно говорит Колька и надувает губы.

— Ну проводи, проводи нас,— соглашается мать и улыбается ласково.

За воротами сидят на лавочке Поля-почтальонка и Катя-техничка из сельсовета. Колька идет с ними почти до конца деревни — до кузницы. Он понимает, что в лес его все равно не возьмут, и дергает мать за кофту:

— Мама, ты про гостинец не забудешь?

— Не забуду, Колюшка, не забуду. Ну беги домой...

Он стоит посереде дороги и смотрит им вслед до тех пор, пока материн синий платок не мелькает последний раз за пряслами огородов, сбегающих к сланке — земляной плотинке между речкой и ровком. Там, за сланкой, есть три дороги, одна из них — в бор. Он круто поворачивается и бегом, нарочно загребая босыми ногами землю на мягких местах улицы и пыли, возвра-

щается к своей ограде и садится на лавочку возле палисадника, где недавно сидели женщины. Теперь они и мать идут и разговаривают, идут и, может, уже пришли в лес и ищут грузди. Что теперь делать? Самый хороший друг Витька вчера сказал, что поедет с отцом на покос, дома его нету. И на Тобол нельзя...

В избушке напротив, через дорогу, хлопает дверь. Воротцы в ограду растворены, и Колька видит, как от крылечка к сараюшке пробегает Вася — как всегда, в одних трусах и сапогах. Колька ждет, что Вася пойдет обратно, но он не идет. Колька вскакивает, поддергивает резинку серых полотняных штанов повыше, почти до груди, так, что оголяются щиколотки, и, выпятив губы, сурово осматривает рубаху. Одна пуговица расстегнута, и он долго ловит ее пальцами, просовывает в петельку. Потом дергает на маленьких воротцах ремешок щеколды и заходит в ограду. Возле бревенчатой горничной стены, сразу за воротцами, видит свою колесянку: отец сбил крест-накрест две тынины, к их нижним концам приколотил ось с надетой на нее тракторной шестерней, а возле самой шестерни к палкам прибил кусок ржавой жестины, задевающий за зубцы. Колька с оглушительным треском гонит колесянку по двору: от ворот — вокруг дома, до крыльца, и обратно — до предбанника, до самого штабелька со вчерашними досками. Не выпуская рукояток, любуется на ровные строчки следов, оставленных на земле шестеренкой. След почти как у настоящего ДТ-54, на каком работает его крестный — силач дядя Миша Криницын. У них в деревне только один такой трактор, и зимой дядя Миша с отцом привозили на нем из-за озера сено для Маньки, и дядя Миша разрешил ему посидеть в кабинке и подергать за рычаги. Вот бы и сейчас прокатиться с ним где-нибудь!.. Да только нельзя, потому что еще тогда, зимой, отец сказал, что дяде Мише попало... Колька тогда удивился: «Пошто? За то, что я в кабинке сидел, ага?» Отец хмыкнул: «Кабы за то!.. Кое у кого березовый комель заместо головы! И сам не ам, и людям не дам!..» Колька даже рассмеялся: вдруг увиделись люди с корявыми чурками на плечах. Смешно и страшно тут же: а если такой вечером на улице попадется?.. Неужели с ним даже дядя Миша не справится? Да ну...

И Колька вдруг с короткого разгона врезается шестеренкой в серый штабелек ровно напиленных старых, с трещинами, досок. Штабелек покачнулся, но устоял.

Эти доски они с отцом и готовили вчера вечером. Когда он вытягивал на себя полотно двуручной пилы, она никак не хотела идти обратно, только повизгивала да звенела, а отец говорил: «Да ты на меня-то не толкай, не толкай, ты только на себя тяни. И не прижимай ее в прорез-то шибко, тяни легонько, она и пойдет, не будет вилять. Острая — зубья сами захватят, сколь надо...» К козлам подошла с пустым подойником мать, посмотрела, как они маются, и сказала: «Давай, Коля, я с тобой встану». — «Не-а, я сам!» — Он занервничал, опять сильно дернул пилу на себя, и опять она с его стороны согнулась дугой, завыла: у-а, у-а, у-а. «Это ты виноват, папка! Ты так сильно толкнул! Тяни вот давай теперь, тяни!» Отец хмыкнул, а мать сказала: «Мастер мастеру не указывает, бог помощь сказывает... Слушай, чё отец-от говорит, да так и делай». — «Ага, вы умеете, дак хорошо вам!» — Слезы изнутри защипали глаза, и он уж хотел убежать, чтобы засесть в свою клетку и доказать им, какие они... Но мать зашла ему за спину: «Ну-ко, сам берись за ручку-то ли чё ли, а я только так, подержусь легонько. Покажу, а дальше уж ты и сам справишься». Он взялся, мать прикрыла его руку своей ладонью, отец потянул пилу к себе, потом они — к себе. Желтые опилки весело посыпались на зеленую траву. Доска треснула, зажала пилу и распалась на две половины. Колька засмеялся. Мать ушла. А они пилили дальше, и отец говорил: «Вот! Молодец!»

Отец хочет разобрать тын с одной стороны в огуречнике, а потом зашить эту сторону досками. Низ тына там совсем подгнил, и кое-где образовались дырки. Да еще он недавно выломал в углу огорода две тынины, чтобы можно было пролезать в конопляник. И теперь куры наладились через палисадник выходить на пустырь за пригоном, а оттуда — в огород.

Кольке жалко тына, особенно свою дырку в уголке: через нее так быстро можно оказаться в конопле! А конопля — густая, высокая, на бор похожа. Он клетку там изладил. Вырвал коноплю у стенки пригона, на два кирпича досточку положил, еще два

кирпича друг на дружку перед лавочкой поставил — получился стол. А главное — не видит никто. Хоть обзовись! Он там сидит молчком — и хоть бы хба...

Вспомнив про клетку, Колька припускает к дверцам в огуречник. И только распахивает их, видит кур. Три белых и одна рябая, они рожются в огуречной гряде — только солома в разные стороны летит.

— Вот паразитки! Ну я вам щас! — Он выдергивает с корнем высокую полынину у забора и, размахивая корневищем над головой, как богатырской булавой, мчится по дорожке к гряде. Куры начинают беспокойно вертеть головами, трясти гребнями, а когда он подбегает и шваркает булавой по гряде, стараясь достать ближнюю птицу, куры хлопают крыльями и с гоготом летят в разные стороны. Им откликается из ограды петух: кру-го-гом!

— Я вам покажу щас! Так дам! Будете знать! — Колька носится по огуречнику, оставляет кое-где на луковых грядках глубокие следы. Куры, вытянув шеи, с гоготом убегают от него, а когда он прижимает их в угол, суматошно хлопают крыльями и бросаются на забор грудью, истошно кудахча, петух отвечает им звонким, взмывающим к небу тревожным кличем, и этот клич больше всего будоражит Кольку.

— Аг-га-а!!

Одна за другой куры находят воротцы, выбегают из огорода. Рябая взлетела на забор и идет по нему, качаясь и примериваясь, где слететь. Колька издали запускает в нее полыниной. Курица ныряет в ограду. Он запирает воротцы, накиннув на их столбик проволочное кольцо, и по-хозяйски оглядывает огород: порушил немножко, но ничего, зато будут помнить! И с победным видом прислушивается некоторое время к тревожной переключке в ограде. Потом копит во рту слюну и, вытянув губы, сплевывает под ноги, стараясь сделать это, как Вася Збокач, но такого небрежного и аккуратного, похожего на выстрел горохом из трубочки, плевка, как у Васи, у него не получается — слюна снова брызжет в разные стороны...

С самой войны Вася живет вдвоем с матерью, бабушкой Майей, в склонившейся набок, будто горестно присматривающейся

к чему-то, избенке. Разговаривает Вася интересно, не так, как все в деревне: вместо лебеды у него — лябда, вместо сидит — сядить. Он приходит раньше всех с работы и потом выходит за ворота, садится на свою лавочку возле завалины — в одних трусах и сапогах, и Кольке кажется всегда, что в каждом голенище может поместиться по две Васиных ноги. Вася скрещивает на голой груди тонкие руки и начинает посматривать то в одну сторону, то в другую и поплевывать-постреливать направо и налево. И вскоре возле сапог его, справа и слева, на твердой земле появляется много мокрых пятнышек. Потом идут один за одним с работы мужики и некоторые кивают ему, а некоторые задерживаются возле Васи, спрашивают: «Ну што, сядим?» И Вася им отвечает одинаково: «Сядим!.. А чаво нам? Исделал дело, сяди смело!..» Мужики смеются: «Брось ты, Вася! Дело он исделал...» И идут дальше. А недавно возле Васи остановился дядя Миша в блестящих от машинного масла штанах, он поздоровался с Васей за руку, а потом спросил: «Скажи честно, скоко ты трудодней за год вырабатываешь?» Вася сплюнул: «А чаво тебя так интересуйть? Усе, скока есть, усе май... А у тебя многа больше?» Дядя Миша с укоризной покачал головой. Вася вытянул шею, опять сплюнул и быстро, но нешироко развел ладони в стороны: «О-о! Што тябе, што мяне — пошти усё ядно: хрен да луковка, хрест да пуговка! Вот уся яда и пасуда!..» Дядя Миша опять покачал головой: «И как ты живешь, не понимаю... Хоть бы мать пожалел! Ты погляди ладом, она уж согнулась вся от тоски по родным-то местам...» Вася вскочил, вскинул руки к небу, закричал: «А гроши на пяряздку мяне уся дяревня соберёт?! Али може твой калхоз дать?!» Дядя Миша шагнул к лавочке, сел. Вася тоже сел и долго рассказывал дяде Мише о чем-то. Дядя Миша слушал, свесив голову, изредка кивал. А Вася все говорил, говорил тихонько. А потом Кольке надоело смотреть в створку...

Колька засовывает руки в карманы и вразвалку шагает в свой угол огуречника — к лазу в конопляник. Ему вольготно и радостно. Припекает солнце. И он почти совсем не думает о том, что

не хотел отпускать мать по грибы. И совсем не страшно, а даже наоборот — он не только с курами может справиться, а попадись ему сейчас такой, с комельком, он бы и ему... Как бы вот ему вот так вот!.. Колька сильно размахивается и тыкает перед собой кулаком...

От пригонной стены слабо тянет коровьим навозом. Манька любит, когда ей чешут шею. Шерстка у нее на шее мягкая. Она вытягивает морду, глядит на него темным блестящим глазом и старается мокрым, гладким, как шляпка масленника, носом задеть его щеку — лезет целоваться. Колька садится на лавочке в своей клетке и вглядывается в густые конопляные заросли. Близкие темные верхушки конопляных пик напоминают ему гребень бора. Там сейчас мать ступает по мхам, наклоняется за груздем. Бор шумит, шумит-ит. Колька ехал с отцом на телеге по этому бору к отцу на работу, на лесозавод, и слышал, как он шумит: будто сильная река течет там вверх и качает высокие зеленые шапки сосен — туда-сюда, туда-сюда, медленно так. Тревожно.

Налетает ветерок, и конопля шелестит, качает темно-зелеными пестиками макушек. Сердце сжимается: может, волк тут рядом, сейчас как выскочит, шерсть на загривке дыбом. Мурашки бегут меж лопаток. Колька пугливо озирается и прислушивается чутко, и понимает тут, что спастись от волка, если нет ружья, лучше всего в избушке, а у него только лавочка да стол кирпичный.

Он вскакивает и опроретью бежит в ограду — к доскам. Захватывает в беремя сразу три или четыре доски и прет их, поддерживая животом, откинув назад голову, к своему лазу в огуречнике. Надо откинуть проволочное кольцо со столбика. Правая рука, поддерживавшая доски снизу, предательски разгибается, и они с грохотом валяются на землю, бьют по босой ноге. Колька стискивает зубы и с гусиным шипом втягивает в себя воздух. Но тут же бросается к воротцам и с силой распахивает их, вложив в толчок всю свою боль. Собирает доски и, прихрамывая, прет дальше. Так он делает несколько ходок. И досок возле пригонной стены набирается порядочно. Можно строить. Он прислоняет доски внаклон к бревнам сарая, получается накат. Колька зале-

зает внутрь. Здорово, но не совсем ловко: чтобы пробраться к лавочке, надо сильно нагибаться или ползти, и светит с обоих концов. Вот если сделать стоячие стены и крышу да дверку прибить, тогда — да, тогда жить можно!

Колька подпрыгивает и мчится к предбаннику. Там, под лавкой, стоит отцовский ящик с плотницким инструментом.

Ножовка, молоток, гвозди — все это вскоре бережно укладывается возле избушки. Колька стоит и в раздумчивости скребет затылок:

— Хы, а как доски-то торчмя ставить?

Без столбиков и перекладины не обойтись. Надо искать жердину. Он обходит весь двор — ничего подходящего. В сарае его взгляд как магнитом притягивают гладкие перекладины ясель, куда накладывают зимой сено корове. Ишь как Манька шеей жердочки отполировала! Хорошие столбики для избушки получились бы... Но тронуть ясли Колька не решается — вспоминает про солдатский ремень, который отец всегда вешает на гвоздь в простенке, почти под самой божницей. Этот широкий ремень с блестящей внутренней стороной, на которой отец правит опасную бритву, ого-го каким может быть. Пробовал... Игнаша, старший брат, из Магнитогорска в отпуск приехал. Пришел с охоты и положил двустволку на кровать в горнице. Стволы блестят. Курки, как бараньи рога, назад загнуты. И лежит так, что поднимать даже не надо. Колька двумя большими пальцами взвел курки и нажал. Гром. В живот удар. Дым по всей горнице. Сладковато пахнет тухлым яйцом. В углу под потолком куча черных точек в белой штукатурке. Он стоит и слушает непрерывный звон в ушах. Тут его хватают за руку и волокут в избу. Мать причитает. А Игнаша матерится и врезает ему ремнем. Вбегает в избу отец, выхватывает ремень, вытягивает по спине брата. «Не разрядил?! Да ты п-поним-маешь ли што!»...

Фуки у отца трясутся... Второй раз отец угостил ремешком Кольку, тогда он развел костерок из лучины в предбаннике. Но все равно ремень Кольке глянется, и он любит опоясываться им, когда отца нет дома.

Колька вздыхает, проводит рукой по гладкой ясельной жердочке и идет за ограду, к трем бревнам, что лежат горкой возле задней стены бани. Из-под бревен, вытянувшись вдоль банной стены, торчит конец жердины — серой, треснувшей вдоль, но еще крепкой. Жердь шатается, значит, вытянуть можно. Поплевав на руки, как это делает отец, прежде чем взять топор, Колька ухватывается за жердину. Она чуть подается, а дальше идти не хочет. Он пыхтит — никак! Тянуть неловко, мешают и бревна, и банная стена. Веревку бы... А ремень-то! Там же пряжка, петлю сделать — проще пареного! Он бежит в избу и возвращается к жердине с ремнем.

Намотанный на руку, он режет краем запястье, Колька откидывается всем телом назад, скользит пятками по траве, перебирает ногами и опять упирается покрепче, и с натугой вопит:

— Пошла! Пошла!

Длинный конец уж выполз, и тут жердина встает намертво. Он дергает за ремень то в одну сторону, то в другую — то вдоль жердины, то вбок. Вдоль — она даже не шевелится. А вбок — пружинит и дергает ремень обратно так, что Колька чуть не трескается головой о банную стену.

Он бросает ремень и ложится вдоль жердины, равняет пятки по ее концу, а у макушки делает на жердине заметку щепкой. Хочет отмерить второй рост, но затылок упирается в торец верхнего бревна. Ничего — можно будет входить в избушку и немного пригнув голову. Сбегав к пригону за ножовкой, он размеряет вытянутый конец жерди на две равные части и начинает пилить. Пилить неловко. Между банной стеной и жердью прогал всего в четверть, да и то не в большую — с мизинцем, а в маленькую — с указательным пальцем. Ножовка только стучит концом в стенку, а жердь зубьями захватывает совсем мало. Колька то частит ножовкой туда-сюда, быстро-быстро, то сильно прижимает полотно левой ладонью и дергает ручку только на себя. Но желтое пятнышко опилок под жердью все никак не хочет увеличиваться, и прорез неглубок — на полпальца всего. Колька в сердцах шваркает ножовкой по жердине. Ножовка жалобно тенькает, а на сером боку жердины светятся три маленьких желтых клинышка.

И он начинает ширкать без передыху. Стоит на коленях и пилит, пилит, пилит и пилит. Пот бежит по лбу, ест глаза, капает с носа. Слизывая его с губ, Колька чувствует, какой он соленый, но все равно ширкает и ширкает, пока у желтой горки под жердью не появляется острая вершинка. Он только за этой вершинкой и следил все время. Только этого и хотел — чтобы она стала острой...

Колька бросает ножовку и опрокидывается на спину, раскидывает руки. Рубаха сразу прилипает к спине, а трава приятно холодит. Он закрывает глаза и опять открывает. И кажется: облака неподвижны, а он плывет и плывет в синей бескрайности, и не хочется ничего — только плыть и плыть, плыть и плыть...

Отдохнув, он осматривает прорез — перепилит больше половины. Должна треснуть. Колька отходит к торцу, подпрыгивает и ударяет в край жерди пятками. Жердь пружинит, но не поддается. Тогда он подталкивает под самый прорез обломок кирпича и, опять подпрыгнув, бьет пятками по краю со всей силы. К-р-р-р! — трещит жердина, осев к земле, но еще не до конца отломившись.

— Ур-ра-а!

Как на поверженного врага, он кидается на нее, хватая за серую шею, упирается ногой в стену бани и дергает со всех сил. И вместе с обломившимся столбиком летит на землю. В колене спичкой вспыхивает боль. Он вскакивает, трет ушибленное место.

Солнце сильно печет, и этот жар успокаивает его. Но тут он чувствует, что очень хочет есть, и идет в избу. На столе под тряпичей лежит половина калача. Он отрывает зубами такой кусок, что трудно жевать. Ставит на стол чугунок с картошкой. Заглядывает в ладку с простоквашей. Она согрелась у окна на солнцепеке, и поверх плотного белого круга выступила уже желтоватая прозрачная жижица сыворотки. Лучше холодного молока достать. Мысль о погребе и приятна, и страшна. В жару там хорошо, прохладно, но мокруш под дощечками — уйма. Откинешь досточку, а они, грязно-розовые, так и засемят в разные стороны — бр-р! И мыши там, мать говорила, нор нарыли,

даже прошлогоднее сало подгрызли. Но молока все равно хочется...

Брякают воротца, Колька кидается к створке.

В ограду входит Вася. Он в тех же сапогах, но в штанах и залатанном пиджаке, надетом на майку. Кольке боязно, он не знает, что делать. Вася хитро подмигивает ему и кланяется:

— Здравствя — не хвастайтя! — Голос вроде веселый, а глаза — мутные.

— Здравсьте... — В горле у Кольки перехватывает. И он не знает, как его назвать: Вася или дядя.

— Тецка Антанида у дваре?

— Не-а, за груздями пошла.

Вася хлопает рукой по бедру:

— Как жа быть-та мяни? — Он тоскливо смотрит на Кольку. — А можа, ты мяня выручишь? Знаешь, где у мамки деньги ляжать? Дай мяни двадцать пять карбованцев. Я вечером с мамкой дагаварюсь, два пуда зерна принясу. Вот тя хрес! — Вася божится.

Кольке страшно.

— Я не зна-аю, куда их мама кладет, — тянет он, чуть не плача.

— Ежки-марошки! Как жа быть-та?! Так выпить хоца, даже вот здесь жгёты! — Вася ударяет кулаком в грудь и, морщась, смотрит на Кольку. И Колька только сейчас вдруг видит, что Вася еще молодой, и вот-вот заплачет сам. Кольке становится жалко его, и он не знает, что делать. А Вася вдруг упирается в стену локтем, прячет в сгиб лоб и скулит:

— Усе пагибли, усе! Бацкя пагиб! Старший братка пагиб! Средний тожа пагиб! Хата сгарела! Куда ехать?! Иде каго искать?! Иде ани сваи-та, каторые памогуты! Ему советавать легко! А вона ана какая большая, Расея!.. — Вася мотает головой и указывает мокрыми глазами куда-то поверх оградного заплота.

Вася резко поворачивается и уходит. У Кольки теснит в груди. Он то смотрит на воротцы, за которыми скрылся Вася, то взглядывает поверх заплота, и все повторяет про себя последние

«Васины, неведомые ему раньше слова: «Вона ана какая большая, Расея, вон она какая большая, вон она какая...»

В животе бурчит. Он протяжно, шумно, глубоко вздыхает, берет на всякий случай нож и идет в погреб. Откинув тяжелую крышку лаза и поглядывая — не видно ли мышей? — начинает спускаться по лестнице. Расстояние между ступеньками большое, приходится долго нащупывать пальцами ноги нижнюю ступеньку, а колено другой упирается почти в подбородок. На третьей, последней ступеньке он замирает, чутко прислушивается и остро вглядывается в сумрак погреба: вроде тихо, никого не видно. За дощатой стенкой засеки кудрявятся длинные белые ростки прошлогодней картошки. Кринки с молоком и ладки со сметаной темнеют в самом дальнем углу погреба.

Колька осторожно щупает большим пальцем ноги земляной пол, он влажный, холодный. Его передергивает, но он все равно спрыгивает со ступеньки. И в тот же миг его кто-то хватает за руку — скользкий, холодный, противный. Сердце прыгает к горлу. Колька сдавленно вскрикивает, прядает в сторону, замахивается ножом. Никого нет. Только качается, свесившись с верхнего края засеки, длинный картофельный росток. Колька подсакивает к нему и в сердцах, как саблей, рубит ножом, смотрит в засеку: не зашуршит ли где в невидимой норе мышь, на цыпочках, будто подкрадываясь, делает несколько полуприседающих шагов и берет наконец темную кринку за холодное волглое горлышко. Белый кружок молока в горлышке качается и оставляет на глиняном краю кринки глянцевитое желтоватое полукружье. Держать кринку неудобно, мешает нож, зажатый в кулаке. Колька прижимает кринку одной рукой к животу и, обернувшись, кидает нож к лестнице. И туда же бегом переносит кринку, ставит возле первой ступеньки. Теперь он опять на свету и боится меньше. Но как теперь сразу поднять вверх и нож, и кринку? Он берет нож и бросает его вверх, в лаз. Нож почти вылетел, но стукнулся ручкой о доску закрайка и падает прямо в кринку. Колька двумя пальцами берет нож за конец деревянной ручки, вытягивает из кринки и облизывает. Вкусно. Бросив нож на землю, он обеими руками берет кринку, ставит ее на вторую перекладину лестницы и, оперевшись о стояк локтем,

заносит на первую, нижнюю, перекладину ногу и начинает распрямлять ее, стараясь поднять тело. Нога дрожит, не хочет распрямляться! Колька краснеет от натуги. Потом чуть приседает на другой ноге и отталкивается от земли. Кринка чуть не вырывается из рук, молоко заливает глаза, но все равно он как-то — как, сам не понял — поднимается на ступеньку. Промаргивается, слизывает молоко с губ и переносит кринку на верхнюю, последнюю, ступеньку.

Выбравшись наверх, он пробует отряхнуть рубаху. Куда там! Рука только шлепает по ней, а материя прилипает к телу. Морщась, Колька снимает рубаху, вытирает сухим подолом грудь и вешает рубаху на плаху, которая прибита одним концом к крыльцу, а другим — к стене сарая и отделяет ограду от палисадника — это чтобы корова к сирени не лезла и чтоб еще не упала в погреб. Колька представляет вдруг, как Манька падает туда и ломает ноги, из темных глаз ее текут слезы... Подбегает к лазу и с силой захлопывает крышку. Не пройдет за доску, но все же...

Можно идти и есть, но что-то такое мешает двинуться с места, вроде как что-то забыл... Ох, да это ж Борька заливается! Как он не слышит-то!.. Он хватает кринку и бежит в избу, оттуда — в сени, где стоит ведро с приготовленным пойлом. Ведро тяжеленное, и приходится, чтобы снять его с крыльца, ставить поочередно на все три ступеньки. Кое-как, то одной рукой, перегибаясь на бок пополам, то сразу двумя он дотягивает ведро через ограду к загородке между огуречником и пригоном и, помогая коленями, опрокидывает бадью в выступающий в ограду край корыта. Поросяенок, только что крутившийся волчком, с визгом вжавшийся передними ногами на доски загородки, замолкает. Что-то хрустит, булькает — за загородкой не видно. Колька слушает некоторое время, и в груди у него непонятное — и радость, и грусть сразу.

— Ешь-ешь,— говорит он.— Я-то могу подождать, а ты же не понимаешь. Тебе же к зиме вырасти надо.

Ему видятся большие листы с морожеными пельменями, которые приносит из чулана мать, чтобы варить гостям, а еще —

вкусные ошурки, постреливающие капельками жира на раскаленной сковороде. И немножко жалко Борьку...

Протиснувшись между лавкой и столом к своему любимому месту у створки, он проворно ест: поочередно откусывает калач, картошку, запивает молоком. Прежде чем вонзить в калач зубы, он мгновение любит им: калач играет витками полосок — румяно-подпеченных и белых, мучнистых. Корочка похрустывает во рту, дух свежего хлеба щекочет ноздри. Молоко не помещается в полном рту, течет стружкой по бороде, Колька закидывает голову, чтобы меньше вытекло, а бороду вытирает рукой, руку тряпкой. Иногда слизывает с пальцев муку, что пристаёт к ним с нижней, подовой, стороны калача.

Наевшись, Колька накрывает кринку с остатками молока и недоеденный калач тряпицей, бежит на улицу, к бревнам.

Солнышко приятно жжет плечи. И Колька радуется, что он теперь без рубахи. Как это он раньше не додумался ее снять? Хоть не облил бы... Но надо работать. И он, согнув руку в локте, кулаком к плечу, сильно надувает щеки, оценивает, прибавилось ли после еды силы. Прибавилось! Берется за ножовку. Отширывает-таки и второй столбик. Переносит оба к будущей избушке. Находит лопату. Что дальше-то? Как он крышу будет крыть? Перекладина ведь нужна... А, можно доску пустить! Отмеривает доской расстояние между лунками. Копают. Вот, одна готова. Ставит в лунку столбик, засыпает землей, притаптывает землю вокруг столбика пятками. Начинает копать другую лунку. Пот бежит по лбу, по спине. Лопата становится тяжелой. Он приседает рядом с недокопанной лункой на корточки, ставит на колени локти, а в гнездышко ладоней опускает подбородок. Земля в лунке сухая.

Кольке становится скучно.

Отец с лесозавода придет еще не скоро, мать из бору, наверное, тоже. А может, идет уже? Он вскакивает. Бежит в ограду. Поднимается по лестнице на земляную крышу сарая, карабкается по дощатой крыше сенника. Доски темно-серые, потресканные, шершавые, кое-где облеплены темно-зелеными валиками плотного мха. Вот и конек. Ухватившись за него, усевшись попрочнее на

коленки, Колька вытягивает шею и всматривается в сторону бора. Туда уходит, теряясь в желтом просторе хлебов, серая веревочка дороги. На дороге пусто. Недвижны выступы темной кромки бора, но почему-то кажется, что вот сейчас на мысу одного из этих выступов покажутся фигурки трех женщин, и на одной будет синий платок...

Нет, никого не видать. Только зубатится, как редкий гребень, верхушками сосен не такой уж далекий бор, а перед ним, будто подбежав к деревне, расфуфырила темные космы сосна-одиночка с коротким, толстым стволом. И плывут, плывут за бор большие белые облака. Вот-вот одно из них, похожее на слона, зацепится хоботом вон за ту, самую высокую вершину, сядет на лес и скроет его, как ватой закутает. А хобот ползет уж вверх и становится похож на крыло какой-то огромной птицы, и у птицы этой даже клюв вон появился. Как у орла...

Руки устали. Колька съезжает к земляной крыше сарая и садится, охватив руками колени, лицом к бору, чтобы не пропустить, когда покажется мать. Он провожает взглядом череду диковинных, но совсем не страшных белых облаков, плывущих далеко-далеко — за самый бор. Туда, где он еще никогда-никогда не бывал. Кто там живет? Какие люди? Вот у них там есть, например, Катя-немая или нет? Он побаивается ее, этой Кати. Она всегда, даже в самую жару, ходит в теплом платке. Лба под платком не видать, только маленькие глазки блестят да нос шелушится. Наклонится к тебе, тычет пальцем в грудь и мычит. А что мычит, не разбери-пойми. Хоть и не шибко, а все же страшно. Хочется улепетнуть, да засмеют, скажут: Кати испужался!..

Колька опрокидывается на спину, перевортывается на живот и начинает смотреть в другую сторону, в ту, откуда плывут облака.

Они плывут из-за реки, из-за высоких тополей, которые растут вдоль боровлянского берега Тобола. За тополями — большой луг. По лугу там и сям — острова камышей: озера. А за лугом — длинная-предлинная гора. С двух сторон по горе — темная лента леса, а посередке, на лысом месте, домики приткнулись один к другому, как дикие утята темные.

Колька до рези в глазах всматривается в Боровлянку, там он еще ни разу не был и один туда, конечно, ни за что не пойдет. Там одни варнаки живут. Арбузы воровать в деревню ночью ходят. Вятить * папки из Тобола уперли. Папка так и сказал: «Это боровлянские варнаки напрокудили! Кроме их, больше никому. Неуж наши позволяют?..»

Звякает щеколда оградных воротцев.

— Ма-ма!!! — кричит Колька и кидается к лестнице. Лихорадочно ищет ногой ступеньки, оглядывается, дрожащим голосом поскуливает: — Мамонька, мамонька, мамонька...

Наконец спрыгивает на землю и, раскинув руки, бежит к углу дома. Из-за него с кирзовой сумкой в руке выворачивается отец.

— Па-апка-а!!! — Он с размаху тычется лицом в полы пиджака, обхватывает отца руками. Отец похлопывает его ладонью по спине.

— Ну-ну, хватит, хватит, перестань. А мать где?

— За грибами ушла. А чё у тебя в сумке?

— А чё там может быть? Бутылка из-под молока да яичко вареное не съел. Ну кусочек хлеба еще остался...

— Дай мне! — Колька выхватывает у отца сумку и бежит на крыльцо, садится, заглядывает в сумку, будто там клад, который отец утаил, выхватывает яйцо, чистит и ест с остатком калача. Отец присаживается рядом, поставив серые от пыли кирзовые сапоги на среднюю ступеньку. Закуривает. И обводит взглядом ограду, будто видит ее в первый раз.

— А пошто я тебя не видел, как ты от бора с лесозавода шел?

— А как ты должен был меня видеть?

— А я на сарае сидел!

— Дак я тебе сколько раз говорил: не лазь, упадешь!

— Я тихонько...

— Тихонько! Вот хлопнешься, башку свернешь, тогда будет — тихонько!..

* Рыболовная снасть.

Колька ест, отец курит.

— Пап-ка...

— Ну...

— А за бором есть деревни?

— Ну а как жо...

— А какие?

— Белое, Каминка, дальше Куртамыш.

— А ты в их был?

— Был. А нашто тебе?

— А я тоже хочу.

— Подожди... Может, скоро и побываешь ишшо...

— Когда?! — Колька подпрыгивает, так ему хочется побы-
вать побыстрее.

Отец усмежается:

— Ну-ну, сиди. Это я так...

— Па-апка! Возьми меня с собой! А, папка! — Кольке ка-
жется, что отец завтра туда, в Каминку эту или в Куртамыш,
поедет, а его не хочет брать.

Звякает щеколда.

— Ну вот, явились — не запылились! — говорит отец. Колька
срывается с крыльца и летит к воротцам. Мать без платка, лицо
вспотело; на плечах вроде коромысла — березовая палка, обмо-
танная синим платком, руки раскинуты в стороны, поддержи-
вают корзины. В одной корзине — грузди, другая завязана тря-
пичей, и что в ней, не видно, и еще запон загнут и подвязан
нижними концами к поясу, в нем, как в мешке, тоже что-то то-
порщится.

— Чё там, чё там?! — подпрыгивает возле матери Колька
и хватается за корзину, обвязанную тряпкой. — Это от заюшка?
Мама! Ну, мама! От заюшка, ага?

— Да отойди ты! Погоди маленько. Дай хоть с плеч снять-то,
горе...

Колька бежит назад, к крыльцу. Мать приседает, снимает
с плеч палку, ставит корзины на землю и, схватившись за пояси-
ницу, искривив лицо, с трудом выпрямляется.

— Ой-ё-ёй, спинушка моя, вся ровно отвалилася...

Отец сидит, не двигаясь, на крыльце, а Колька срывает с корзины тряпицу.

— Вишенье! Ура! Вишенье! — Колька отправляет в рот горсть ягод и жуёт, хрустя косточками. Кисло-сладкий сок сводит скулы. Колька морщится, а рука снова тянется к ягодам, и пальцы выбирают самые крупные и самые спелые. Он набирает новую горсть и подскакивает к отцу.

— Папка! Ты посмотри какие! — И садится рядом на ступеньку.

Отец берет ягоду, бросает в рот и катает на зубах — пробует.

— Где брали?

— А за согрой, возле Черной ляги наткнулись. Как усыпано кем... Катюшка с Польшей тоже по ведру набрали. Еле приперли. Да груздишек перед этим наломали. Упластались — ноги не дёржат.

— На хрена они тебе, эти грузди-то! Ходи за ними, ломай спину-то! — Отец выплевывает вишневую косточку. Колька и мать разом взглядывают на него, Колька — испуганно, мать — растерянно.

— Вот-вот, да ты чё боронишь? А зимой-то чё ись?

— Доживем ли до зимы-то, неизвестно! А то, может, соберемся да мотанем к чертовой матери, пропади оно все пропадом!

— Вот-вот-вот, да ты чё засобирался?! Стряслось ли, чё ли, што-нить?

Отец опускает подбородок на грудь. На небритых щеках его ходят желваки. Мать молчит, потом испуганно вскрикивает:

— Ваня!.. Што стряслось?! Ты чё молчишь, не сказываешь?! — Мать поддерживает руками узелок запона с груздями, будто боится, что он развяжется сейчас сам собой и грузди посыплются на землю.

Отец поднимает голову. Между бровями над переносьем появилась глубокая складка, глаза почти ушли под брови, смотрят зло, губы крепко сжаты.

— Догоняет меня щас, перед самой деревней уж, Аркаша Безуглов на ходке.

— Это новой бригадир?

— Ну да! Лошадь придержал, приглашает: садись. Сел. Он тронул. Молчит. Потом, как обухом по голове: Иван, говорит, Артемьевич, правление приняло решение единоличных коров в деревенский табун не пускать! Это, значит, нашу да Коли Иванова, Ивана Шукина да Петра Синицына — в опчем всех, кто на лесозаводе работает... Я ему: какой я вам единоличник? Я рабочий! Плотничаю! Нет, свое: раз в колхозе не робишь, не имеешь права пасти корову на колхозной земле!.. Как так — не имею?! А на какой имею?! Он на меня зыркнул, шары сразу в сторону: на какой, говорит, хошь, гоняй туда, где работаешь... Я ему: да я же здесь живу! Он свое: здесь земля колхозная!.. Колхозная?! Я с ходка долой. Он лошадь понужнул и покатыл. Во! Порядки, мать их в лоб! Што хотим, то и воротим!

— Вот-вот-вот, сдурели совсем! Ваня, чё жо делать-то будем? Это они чё жо выдумали-то, а? Ну, нисколь не живется людям спокойно! То одно, то другое, то сено не вози, то корову не гоняй! Господи!..— На глазах у матери появляются слезы, она причитает: — Хоть головушку захватывай да беги куда глаза глядят...

— Про што тебе и говорю!..

— Да как все это бросишь?! Где нас ждуть-то?! Вот дак Аркаша, вот дак Аркаша... Это хто он такой, што за человек?..

— Хм! Человек!.. Отыскала человека! Какой он тебе человек? Это не человек! Сталинская отрыжка!

— Ваня!..— Мать испуганно оглядывается. Отец тоже резко оборачивается. Кольке становится не по себе: будто в спину ему смотрят... Он тоже оборачивается, и боится, и готов увидеть в кустах сирени человека с березовым ко́млем вместо головы. В кустах никого нет, и за штaketником палисадника на улице тоже никого нет. И Колька успокаивается: хорошо, когда ты нужен только мамке с папкой, а больше никому. Отец говорит:

— Да ково ты, мать?! На съезде разоблачили, а я-то чё?..

— А вот хоть чё, хоть не чё... Не надо, и все...

— Да ладно, ково ты выдумываешь?! Спомни лучше, как меня в тридцать шестом бригадиром хотели выбрать. Это, помнишь, тогда сразу после Петра Коробыкина было. Скот пал из-за

бескормицы — хвоей-то много ли питаешь? А Петру семерик... Давай меня выдвигать. Я — ни в какую. На любые общие работы пойду, хоть быков давайте... И ведь исключили же из колхоза, хм! — Отец качает головой. — Бригадиром тогда боровлянский Александра Половинкин стал, потом председателем — на броне всю войну. А чё делал? Сама видела, лучше знаешь, вы тут лямку тянули, бабы да старики, а Катюшка Махова за сумку обсевков на Колыму пошла... Ребятишки в приют! Во как! Саня-то Половинкин, кобель лягавый!.. Дак вот Аркаша-то второй Саня и есь... Квашня вроде новая, а закваска старая...

Отец громко дышит носом, молчит и тупо смотрит в землю. Колька никак не понимает, о чем это он говорит. Ему видится высокий, сутулый дядя Саша Половинкин, он живет в большом доме на самом краю деревни, всегда держит во рту потухшую папироску, быстро-быстро говорит и много хохочет. И еще Колька никак не может представить, как это кобель может лягаться — жеребец он, что ли? Задними ногами землю роет — это да, это он видел...

— Господи! Да это чё жо оне только выдумали... Где жо нам теперь коровешку-то пасти? — Голос у матери усталый. Отец смотрит на нее сердито.

— Где-где!.. А вот хоть где теперь паси! Хоть на луну гоняй! Дак там трава не растет!.. — Отец умолкает, и у него на скулах, под кожей катаются шишки, будто он сосет сразу две конфетки. Колька тоже сжимает зубы и трогает щеку ладошкой — нету шишки. И как это у них все получается — и плевать, и шишки катать? И тут же забывает про это. Ему жалко Маньку. И страшновато почему-то и тоскливо, хотя все вокруг такое же, как всегда: и тын, и пригон, и трава на ограде...

— Мать! Может, Феофанью Хлызову на лесозаводе попросить? Она эть вроде родней тебе доводится? Попрошу завтра, чтобы разрешила денничек пригородить... Как думашь, не откажет?

— Дак пошто, поди, ей отказывать-то? — Мать разводит руками.

— Ну если даст согласие, тогда на ночь у иё можно будет оставлять. А пасти в леспромхозовском табуне. Тоже, поди, не должны отказать — свой же я, рабочий!..

— А доить-то?! — Мать всплескивает руками. — Четыре километра туда да четыре обратно... Это во скоко же подыматься-то надо будет? Часа в четыре... Да ково там — ране! Пока дойдешь, пока подоишь, а в шесть табун уж поди-кося угоняют. У нас вон дак и в полшестого когда уходит...

— Ну а чё заделаешь?! Продать — а этова чем кормить? — Отец кивает на Кольку.

— Да ково ты болташь — продать!..

Колька подпрыгивает на ступеньке:

— Не надо продавать Маньку! Я буду на лесозавод гонять!

— Тебя не спрашивают, не сплясывай! Погонщик какой нашелся! Иди-ко вон в избу! — Отец берет его за локоть и старается приподнять. Колька руку вырывает:

— Ага, а чё я не смогу ли чё ли?!

— Ладно, Коля, пойдем домой. Надо на стол чё-то собирать. — Мать шагает ко крыльцу и подталкивает Кольку к дверям в сени. — Замочи груздешки-то в корыте, а ягоды в чулан поставь, — говорит она отцу.

Колька сидит на лавке. Мать клюкой достает из печи чугунок. Входит отец. Он снимает пиджак, вешает его на гвоздь, отодвигает под верхним голбчиком занавеску, за которой висит рукомойник, долго фыркает, моет шею. Потом вытирается полотенцем и заставляет мыть руки Кольку. Ему не хочется мочить руки, и он упирается.

— Да он же их все с ягодами облизал, — говорит мать.

— Ну да-а! — Кольке хочется доказать, что облизал не «все», он плюет на ладошку и трет ее пальцем. На ладони проступает белая полоска.

— Вот и не все!

— Марш! С мылом! — приказывает отец.

Мать переливает из чугунка в миску жареху, по избе плывет щекочущий ноздри дух упревшей картошки с мясом и луком. Кольке хочется скорее сесть за стол, и он быстро моет руки.

— Што за праздник? — спрашивает отец.

— Да старая курица класть перестала. Растится и растится, парить собралась. Зарубила утресь...

— Волче-то не ко времени севодня бы,— говорит отец.

— Пошто?

Отец не отвечает и садится на свое место — на короткую лавочку в простенке между божницей и горничной дверью, снимает со стола тряпицу, берет заломанный калач.

— Дай-ко ножик, мать!

Колька пригибает голову к столу.

— Да где жо он? Лешак его знат...— Мать переставляет на лавке в кути ладки, кринки, заглядывает в шкапчик.

— Брал? — говорит отец.

— Бра-ал...

— Куда девал?

— В погребе он...

— В погребе?! — Отец даже к столу приклоняется. — Эт-то ишо зачем?

— От мышей обороняться...— Колька не смотрит на отца, но затылок у него напрягается так, что становится щекотно в волосах.

— Едрит твою налево! А ежели б шею сломал? Или напоролся? А я смотрю — кринка! Неужели, думаю, мать с утра оставила? Прокисло бы... А он ишь чё! Похозяйничать решил!..

— А протакиша-то чё, не поглянулась? — спрашивает мать.

— Ага, там жижа желтая...

— Мыши-то хоть не съели? — Мать улыбается. Колька тоже пробует улыбнуться, искоса взглядывает на отца: лицо у него сердитое, и он опять пригибает голову к столу. — Ладно, ладно, ты-то живой, видим. А вот ножик-то поди-кось до основанья сгрызли...

— Он желе-езный...

Отец встает и уходит на улицу. Мать садится рядом с Колькой, гладит его по голове и спрашивает:

— Больше-то хоть ничё не настроил?

Колька прижимается к ней. Медные волосы ее в закатном окне золотятся, большие зеленые глаза смотрят ласково-ласково и устало-устало. Он прижимает голову к ее груди и трясет головой:

— Больше ничё, только ножик...

Возвращается отец, и они едят. Обжигаясь, Колька ложка за ложкой таскает из миски упревшую за день картошку, прилебывает жирным куриным наваром, тянет зубами белое мясо.

— Тих-хо! — говорит вдруг отец. — Слышишь, мать? Пищит вроде где-то...

Колька замирает с ложкой во рту. Мать говорит:

— Да как не слышать! Я этъ ближе тебя сижу. У Коли за ушами это...

Колька прыскает так, что картошка с хлебом летят изо рта на стол. Мать хохочет, отец улыбается. Кольке становится так хорошо, что хоть пой и плачь разом.

— Ну-ну! — говорит отец. — Значит, на мышей с финкой решил? Герой!

— Кверху дырой! — подхватывает мать. И они опять смеются.

Мать идет в куть, прибирает там. Отец закуривает. Колька распахивает створку и, навалившись на подоконник грудью, смотрит на улицу. И вспоминает, как плакал Вася.

— Ма,— оборачивается он,— а днем тебя Вася искал. Деньги просил. Сказал, два пуда пшеницы притащит. Заревел тут, а я испужался...

Все молчат. И Колька опять смотрит поверх заплота.

— Запил парень,— говорит отец.— Михаил ему посоветовал в родные места подаваться, а оно вишь как... Жалко их, а чем поможешь? Им, если там хатенку покупать, тыщ пятнадцать надо, не мене. А за эту, ково там дадут... Коровьи слезы...

Слышно, как звенит комар, залетающий в створку.

— Как же завтра с коровой-то быть? — вздыхает мать.— Гнать в табун или не гнать?

— Гони!..— Отец молчит.— Ну а если уж не пустят... Тогда што ж... День самой попасти придется. А я в обед попробую все же с Феофаньей договориться...

Комар все зудит возле уха, нудно, с угрозой. Колька отмахивается, и комар затихает.

— У тебя там, мать, ничё в заначке нет?

— А чё тебе надо?

— А чё спрашиваешь? Сама знашь!

— Дак а чё ты вдруг надумался? Поели уж... Управляться эть надо!

— У кумы Анны именины севодня. Михаил вчера приглашал, да я все думал: ийти — не ийти...

— Вот! Дак сразу-то пошто не сказал? И я не ума кума! Штости в голову не пало. Тогда ись не надо было! Если ийти дак...

— Пообидятся, если не ийти.

— Знамо. А во сколь они собираются?

— Как все управятся и соберутся.

У Кольки приятно щемит в груди: он готов сию секунду бежать к дяде Михаилу и тетке Анне, там будет много сдобных каралек, но ему сейчас придется еще ийти встречать Маньку из табуна, чтобы мама успела подоить ее засветло.

— Побреюсь пока! — Отец достает с божницы алюминиевую чашечку, помазок, опасную бритву, наливает в чашечку воды и взбивает пену.

— А ремень где?

Колька обмирает.

— Где ремень, спрашиваю!

— У бре-евен...

— У каких бревен?

— Возле бани которые...

— Ты чё им там делал?

— Жердину тянул.

— Зачем?!

— Надо было...

Отец берет его за руку.

— Ну-ко, пойдём!..

Отец держит крепко, и ему нехотя приходится ийти за ним. Возле бревен отец молча смотрит на валяющуюся ножовку, на брошенный тут же ремень, на свежий срез жердины... Кругом виноват! Хочется вдруг оказаться на крыше дома... Чтобы никто не достал!..

— Да я же эту жердину берег! В охлеве матка подгнила! А ты што мне тут!..— Отец хватает ремень, замахивается: — Вот как жарну щас!..

— Па-апка-а! Не бей! — кричит Колька.

— Иван! — кричит из створки мать. — Не тронь его. Христа ради! Корыстен ум у робенка!

Колька вырывается, бежит и слышит, как отец сзади громко ругается:

— Мать их всех в лоб! Доведут — родного сына изувечишь!

Кольке обидно, как никогда. Он, рыдая, залетает в избу, взбегает по приступкам на верхний голбчик, с него — на полати, зарывается лицом в подушку. Следом входит отец.

— Ково он там начебарничал? — спрашивает мать.

— Матку мне для охлева испортил! — говорит отец сердито.

Колька вскидывает голову.

— Я вот вырасту, я тебя тожо тогда!..— И зарывается лицом в подушку.

— Коля!! — Голос у матери звонкий. — Ну-ко, перестань! Разве можно так на родителей говорить!

Протяжно мяукает в кути кошка, выпрашивая у матери косточку. Мать позвякивает посудой. Тикают ходики. Колька изредка вздрагивает всем телом. Слышно, как где-то далеко-далеко мычит корова... Отец сердится и, наверное, не возьмет его к дяде Мише, а может, они не пойдут совсем...

— Ма-а,— тянет Колька. — А Маньку-то надо встречать или нет? Ты чё меня не посылаешь?

— А чё тебя посылать? Ты и сам знашь, што идти надо.

Колька спускается на пол. Отец добривает подбородок. Не убирая бритву от горла, он подмигивает Кольке и спрашивает:

— Каральки пойдем ись?

Колька выскакивает в сени.

Маньку он находит в полынице за огородами, которые тянутся к Волшине — ручью, впадающему в Тобол.

Мать доит корову посреди ограды. А он таскает на место доски, опять укладывает их в штабелек. Приносит к штабельку и обрезки жерди.

Они одеваются в чистое и идут в гости. Крестный встречает их на крыльце. Он звонко, со всего размаха, шлепает широченной своей ладонью в ладонь отца и гудит:

— Ну как жись!

— Такая жись, хоть в гроб ложись! Корову пасти запрещают! — Отец сплевывает в сторону. А дядя Миша толкает его кулаком в плечо:

— Ничево-о! Не на тех нарвались!

Кольке весело. За столом уже сидят. Тетка Анна подает ему сразу две каральки, и он бежит на ограду, угощает дяди Мишиного Верного. Кобель гремит цепью и тянется к Колькиным рукам, Колька прячет их за спину, качает головой и говорит:

— Я сам как следует не попробовал!..

И опять отламывает от сдобного хлебца кусочек и бросает собаке...

В углу, возле сарая, стоит передок телеги с потрескавшимися деревянными колесами без ободов. Колька садится на передок и гудит — едет на машине. Потом он выходит за ограду — на лавочку.

Из открытой створки дома несутся веселые голоса.

Темнеет. В густом синем небе плывут фиолетовые облака. Где-то рядом протяжно мычит заблудившаяся корова. В ближнем проулке кричат ребяташки: «Ага, Витенька, я тебя задела!» — канючит девчоночий голосок. «А вот и не задела! А вот и не задела!» — отвечает ей Витька. Играют в догонялки.

За штакетником палисадника слышатся топающие шаги. Сквозь сирень не видно, кто идет. Из-за угла палисадника выворачивает к воротам мужик, и Колька сжимается — это дядя Аркаша Безуглов. Увидев его, бригадир останавливается, хочет повернуть обратно, но передумывает.

— Отец тут?

— Ту-ут...

В избе громко сдвигается стол, что-то падает, взвизгивают женщины.

— А-а! Явился! — Голос отца за спиной из створки так ре-

зок, что Колька вздрагивает.— Заходи-заходи! Чё у ворот мнешься?! Заходи, ну-ко! Я те тут объясню, на какой я земле живу!

Безуглов молча поворачивает за палисадник. Отец, еще сильнее высунувшись из створки, кричит ему сквозь кусты:

— Я на своей земле живу! На своей!! Запомни это! Ты! Безуглов!

— Задний ход! — Дядя Миша тянет отца за плечи.— Мы с им завтра разберемся!..

Колька вскакивает, бежит в избу, припадает к матери:

— Пошли домой!

Мать гладит его по голове.

— Погоди, сынок, погоди. Вот посидим ишшо немного и пойдем. Ты ись хошь?..— Колька мотает головой.— Ну, ложись вон тогда на койку, полежи...

Колька ложится и утопает в подушке.

— Давай споем! — громко басит дядя Михаил.

— Вот это дело! Давай! Какую! — кричат все в голос.

И опять всех перекрывает густой дяди Мишин бас:

— Иван! Заводи нашу!

Отец смотрит в стол и вдруг высоко затягивает:

В воскре-еенье мать-стару-ушка
К воротам тюрьмы пришла-а...

Все подхватывают:

И в платке родному сы-ыну-у
Пе-ре-да-чу принесла-а.
Передайте хлеб сыно-очку,
А то люди говоря-ат,
Што в тюрьме-то заключе-онных
Сильно с голоду моря-ат.
Ей привратник отвеча-ает:
«Твой сыночек осужден,
Прошлой ночью в час рассветный
На покой отправлен он...»

... Отец бьет кулаком по столу.

... — Расстреляли!! — Он роняет голову, проводит рукой по глазам. И снова встряхивает волосами:

По-верну-улась мать-стару-ушка,
От ворот тюрьмы пошла-а.
И никто про то не знает,
Што в душе она несла...

Глаза у Кольки закрыты, ему видится: строй белогвардейцев с хмурыми лицами поднимает по команде винтовки и целится в босоногого человека в белой рубашке, с руками назад, человек дергается грудью вперед и плюет, стволы винтовок тоже дергаются, человек изгибается, но не падает, и опять дергаются стволы — совсем так, как в кино...

В вос-кре-сень-е мать-стару...

ВЫСОТА

Сперва запокальвало, защемило сердце, потом вспухла в груди жгучая волна боли, поднялась в голову, затуманила на мгновение ум и стала опускаться, уползать в поясницу, в живот, растекаться по всему телу.

Иван Федорович замер, будто прислушался, и как вдавил в землю лопату, так и сполз по ней, осел на колени, сжал немеющими руками, чтобы не упасть совсем, гладкий черенок, положил на сгиб локтя голову. Сморщился, простонал. И вспомнилось, что вот так же вот скользил он ладонями по цевью винтовки, оседая тогда у подножия высоты, возле яблони с покаленной осколком отвилкой-культей...

«Лечь бы...» — Он повел устало глазами, как бы заново увидел комья свежей копанины перед собой и осторожно неглубоко вздохнул. Земля была еще сырая. Иван Федорович кое-как поднялся с колен, добрел, опираясь на лопату, до скамейки и столика под сливой, любимого их с Марией места самоварничанья, и грузно сел, привалился лопатками к спинке.

«Тяжелый-то какой сразу стал», — подумал о себе, как о постороннем, Иван Федорович. И невольно отметил: до чего нежен нынче розовый яблоневый цвет.

— И копать-то осталось всего ничего, — пробормотал он и удивился: нижнюю челюсть будто сводило, язык не слушался.

Он полез в карман пиджака, где всегда лежал нитроглицерин, и тут только вспомнил, что надел другую одежду. Старый серый пиджачишко, в каком он всегда ездил в сад, Мария собралась стирать и ни в какую не дала сегодня. Он уж сунул руку в рукав, она ухватилась: «Куда?! С грязи лопается!» Он осердился:

что, мол, еще надо, само дельно в землю ковыряться. Отобрала и бросила в угол: другой надевай!

«Вот и надел... Лекарство-то в том осталось. Как это я? Рассердила, старая...»

Взгляд его соскользнул с розовой верхушки яблони к белому еще от известки комлю — не смыл дождь, прошелся по глянцевиной, высоконькой уж траве под межевными деревьями, переместился на соседский, бабушинский участок: весь перелопачен, вчера и позавчера Вася тут, рядом с ними, ломил, как лось. А сегодня дверь Васиной дачи была, как обычно, замкнута хитрым висячим замком.

Снова сильно толкнуло. Иван Федорович закусил нижнюю губу: худо одному вот так-то...

Подождал, пока схлынет волна боли, пробормотал, как бы пробуя слова на вкус:

— Пропадет отгул... Жалко. Денек как по заказу...

И опять всплыла в памяти, который уж раз за эти дни, пятница. Балуин и Петька...

Щупленького, белобрысого паренька привел к нему в цех месяц назад его старый приятель, тоже токарь, но из ремонтного цеха — Иван Седельников. Когда поздоровались, Седельников, глядя на смущенного мальчишку, хлопнул ладонью по станине, сказал: «Ну вот, знакомься! И молись, чтобы Иван Федорович не отказал. А мы пойдем потолкуем...»

В сторонке без подготовки взмолился сам: такое, мол, тетка, дело, не откажи, возьми парня в основной механической, в свои руки, обучи, сделай человеком, в ПТУ отдавать неохота, разболтают там парня в момент, а ему теперь и опереться не на кого; сирота, родителей прошлым летом шаровой молнией на покосе убило, осталась только старшая сестра да вот он — дядя по матери; сестра замужняя, у самой двое, живет в маленькой деревушке, некуда там мальчишке податься, с грехом пополам восьмилетку в интернате закончил...

Иван Федорович, слушая Седельникова, смотрел на парнишку, как тот, осторожно нагнув голову, под станок заглядывает, и в

душе его щемило, уже знал: отказать не сможет, хотя и сказал себе год назад, поздравляя своего Славку Скворцова с присвоением четвертого разряда, что все — этот последний... Спросил Ивана на всякий случай, а сам-то, мол, что же к себе не возьмешь? Седельников скривил щеку: «Уж на что бы лучше-то, да ты же знаешь... У нас все шиворот-навыворот!.. Начальство говорит: родственник, не положено. И хоть в глаз коли, хоть ухо режь!» Он сказал: «Ладно! Уговорил. Беру...»

Подошли к Балуину. Иван Федорович коротко объяснил ситуацию. Мастер будто только их и ждал, понимающе развел руками: о чем разговор, валяйте в отдел кадров...

И вот уж три недели Петька стоит за соседним станком, точит и нарезает болты. В первые дни Иван Федорович на него даже сердился: начинаешь что-то говорить, объяснять, он смотрит в сторону, в одну точку, и неясно: понимает ли? Спросишь: понятно? Пожмет плечами... Покажешь: ясно? Головой мотнет, подбородок в грудь, чуть зубы не брякают. А потом заработается. Плечи расправятся. И все так, как показывал. И Иван Федорович определил для себя: хоть и маленький, на вид тихонький, но смысленный, настырный даже — толк будет...

В груди опять сильно сжало. Иван Федорович застонал и лег на широкую скамейку, скрестил руки на животе, повернул удобнее голову, чтобы солнце, прорываясь сквозь листья сливы, не попадало в глаза. И опять осторожно, насколько позволило, глубоко вздохнул. Воздух-то! Аромат-то! Живи да райдуся только. Пчелы гудят в цветках, возят в них хоботочками, не спеша взлетают с одного цветка, с достоинством на другой садятся. И нет им дела ни до чего на свете, нет другой радости, кроме одной, самой сильной, — труда... Он закрыл глаза. И прерываемые молотом в груди, опять закопошились те же мысли...

Балуин, новый их мастер, в основном механическом тоже без году неделя — третий месяц. И все это время никак не мог Иван Федорович найти к нему подход. С прежним Василием Плато-

нычем было все просто: спросил — получил ответ. Но Василию Платонычу подарили самовар с гравированной надписью на боку: «Уважаемому ветерану от коллектива ОМЦ». А на его место пришел Боря Балуин, сорокапятилетний, верткий, непонятный... Да что уж там теперь!.. Теперь-то в общем целом как раз и понятный. Пятница эта все прояснила...

К концу дня он зашел в конторку к Балуину: надо было договориться об отгуле на понедельник — закончить дачные дела. В конторку он заглядывал теперь далеко не каждый день, не так как при Василии Платоныче. Чувствовал: Балуину эти его приходы не нравятся. Но пересиливал себя и все же заглядывал, на правах профорга. С Платонычем у них было заведено: он просматривает наряды и сам выписывает, что ему надо для подведения итогов. Сорок человек — не шутка... Балуин в первый раз, когда Иван Федорович, придя в конторку, хотел взять пачку исписанных нарядов, прикрыл ее ладонью: «Народный контроль? Это без надобности! Точность гарантирована». Иван Федорович сдержал обиду, объяснил: дело не в точности и не в контроле, а в соревновании. «Я дам окончательные цифры на отдельном листке!..» — «Да зачем же лишнюю работу делать? У тебя и так ее хватает... Я профорг, я и выпишу, что надо». Балуин руку с пачки убрал. И в другой раз уж не накладывал, а лишь мельком взглядывал и улыбался, опять писал... Ладно, пусть! — решил Иван Федорович. Но осадок в душе оставался. Что скрывать-то?! Каждый из сорока делает свою работу, какая ему по силам, своего не отдаст, и ты, мастер, только следи за тем, чтобы силы эти не тратились впустую. Конечно, не все силы равны: Меньшикова не сравнишь с Геной Карасевым — пьянь и есть пьянь. Но ты тогда спроси, если сам еще не понял...

В пятницу Балуин как раз писал. Иван Федорович присел, достал блокнотик: «Разреши, Борис?» — «Пожалуйста, Иван Федорович!.. Что вы разрешенья-то спрашиваете? Вы же профорг!..» Иван Федорович взглянул на него поверх очков: смотрит серьезно, вроде не шутит. Он углубился в строчки, привычно пробежал их глазами. И так же привычно отмечал: вот опять Коля Меньшиков неплохо поработал, вот Витя Семенов... А вот и его наряд: ось, муфта, вал, болты... Болты?.. Иван Федорович даже

приблизил лист к глазам. Поднял голову. «Борис, что это ты тут мне понаписал?» — «Где? Что?» — Балуин оторвался от писанины. «А вот! Болты... Что за болты?» — «А! Эти! — Балуин посмотрел с каким-то веселым вызовом. — А куда их девать?» — «Как куда? — Иван Федорович опешил. — Да в наряд! Тому, кто делал! Я же их не точил! Это чьи же? Кто у нас ими занимался?..» — «Да Петька ж твой!» — «Петька?..» — Тут только до Ивана Федоровича дошло. Он опять посмотрел на Балуина поверх очков, будто увидел впервые. Наконец выговорил: «Ему и запиши!..» — «Ему еще рано! Вот когда сопли высохнут, тогда и запишем. А сейчас не положено, на тарифе сидит и норму пока не делает». — «Ну а мне-то они зачем?» Балуин добродушно улыбнулся: «Помешают разве?»

Ивану Федоровичу стало трудно дышать. Он встал, снял очки, аккуратно положил в футляр: «Ты эти штуки брось! Ты со мной... Ты против меня... — Он не находил слов. — Да ты молодкос еще, чтобы со мной так разговаривать!..»

Балуин тоже встал. Он по-прежнему улыбался. Хоть и не так весело, как минуту назад, но улыбка с губ не сходила. Немного побледнел. Но смотрел прямо, глаз не отводил. «Не кипятись, Иван Федорович! Зря ты так... Зря ты так думаешь... Я же как лучше хотел. Зачем, думаю, работе пропадать? Мало ли что... Парень сирота. А вы ему подкинете... Я и предупредить вас хотел. Да из головы вылетело. Скажи я сразу, как вы вошли, теперь так и не было бы...»

Иван Федорович смотрел на Балуина в упор. И ни единого путного слова не рождалось в голове. Добра хотел... Повернулся и пошел к выходу. И только уж за дверью вспомнил, зачем приходил. Снова приоткрыл дверь, наклонился за косяк: «Разреши мне взять отгул на понедельник». — «Пожалуйста! Какой разговор!» — Балуин раскинул руки в стороны...

Переодеваясь в чистое, Иван Федорович смотрел на полуголых ребят с мокрыми еще после душа, растрепанными волосами, слушал их голоса, шутки и все силился вспомнить: кто-то что-то уже говорил про Балуина в первые дни после его прихода... Рядом натягивал майку Меньшиков, тоже его выкормыш. «Коля, в каком то бишь цехе Балуин до нас работал?» — «В штрипсо-

вом, кажись». — «Ну да, это да... Я знаю... А это... Ты не слышал, почему он оттуда ушел?» Коля пожал плечами: «Наверно, здесь простору поболее... Там-то что у прокатчиков — станков десять-пятнадцать». — «Ну а это... — Иван Федорович выбирал. — Как там у него? Ты не слышал? Чисто? Ребята вроде что-то говорили, да я пропустил...» Коля опять пожал плечами: «Черт его знат, Иван Федорович! Своими же глазами не видел. Говорят, кого-то он там обидел... А так, черт его знат...»

По дороге к проходной Иван Федорович перебирал в памяти бывших своих учеников, вспоминал, кто из них может быть в штрипсовом. Кажись, Петя Грачев... Встречаясь в трамвае, Петя все приглашал посмотреть новую квартиру, даже как-то дал адрес...

На заводской площади Иван Федорович остановился, надел очки, достал записную книжку, нашел Петин адрес. Жил Грачев в новом микрорайоне, в стороне от его дома, но Иван Федорович все равно поехал.

Открыла ему дверь Петина жена, Вера, сам он еще не вернулся с работы. Вера провела его в комнату, а сама убежала на кухню. Вскоре пришел Петя. Поболтали о том о сем, пока Вера собирала на стол, сели ужинать, и вид у него был, наверное, такой, что Вера решила, поди: мужикам лучше не мешать, и убежала к соседке. Тут Иван Федорович и спросил про Балуина: что, мол, за история там с ним у вас вышла? И Петя сказал: брал Балуин пятерки за выгодные работы. «И давали?!» — Иван Федорович даже задохнулся. «Еще как! — Петя нехорошо усмехнулся. — Даже конкуренция началась: кто на гривенник больше!.. Перегрызлись все как собаки!..» — «И ты давал?!» Петя опустил голову: «А куда денешься, Иван Федорович?.. Сюда ведь тоже надо! — Петя махнул за плечо кулаком с оттопыренным большим пальцем. Иван Федорович оторопело посмотрел в ту сторону, в коридор, ведущий с кухни в комнаты. — А у него там подпорка в заводоуправлении: не то тещь, не то брат жены...» — «Так он, что же, с шапкой по вам ходил?!» — «Если бы!.. Сами в конторку несли! Да еще оглядывались, как бы никто не помешал по душам разговаривать!..» С минуту тягостно молчали. Иван Федорович как наяву увидел строчки своего наряда, улыбку Балуи-

на... У него защемило сердце. «Как же жить-то после этого?!» — горестно вырвалось. Петя глянул на него и опустил голову. Иван Федорович поднялся. Простились они с Петей Грачевым торопливо. Муторно было на душе всю дорогу к дому...

Позавчера, в субботу, он рассказал эту историю жене. Мария рассудила так: «Што уж ты, Ваня, так-то сильно переживаешь? В первый раз, што ли, с людским срамом сталкиваешься?» Он кивнул: «Не в первый... А все равно больно...»

Где-то совсем рядом защелкал соловей. Иван Федорович прислушался к его голосу с радостным каким-то удивлением. Щелчки были редкие, протяжные и такие насыщенные, будто кто-то в пустой еще комнате нового дома прислонил лучинку к оконному стеклу и — щелк! щелк! щелк! Внимая птице, он опять заглядывая на розовые яблони у межи...

Дача, дача... Одна, поди-кошь, такая постройка во всем саду и есть. А кому вот она?.. Он не решился даже про себя договорить — «достанется»... Ни сыновей, ни внуков... Задумал он построить ее еще в те времена, когда, выполняя госпитальный зарок, выписал на заводе участок. Со строительством не торопился. Поставил для начала навес, разбил рядки яблонек, смородины, крыжовника. И все откладывал сыспотиха деньжонки с зарплат, ждал удобного случая, чтобы поставить домик, какой хотелось: чтобы и печка-лежаночка, и куть с занавеской, и передний угол с лавочкой и столом дощатым, и горенка — словом, родительский пятистенник в уменьшенном виде, в память о покойных отце с матерью и о той сибирской деревушке, где родился, рос и жил до войны. Такой, как виделся, и сделал домик пятнадцать лет назад, когда еще полноправно работал на заводе и каждое лето жывал в подшефном колхозе. Там и купил недорогой домишко на снос. Перевез, срубил — с резными наличниками, узорчатыми коньком и карнизом, маленьким фигурным крылечком. Над двухскатной крышкой у печной трубы укрепил жестяного петуха, который поворачивался носом к ветру и тихонько свистел.

Васька Бабушин, глядя по-соседски на его хлопоты, шутил:

«Рискуешь, Иван Федорович! Смотри-и!.. Заведется в твоём тереме красотка, а тебя и сторожем не поставит».

Мария ворчала: «Чего ради ломаешь себя? Здоровишко-то сиротское. Отдыхал бы, не выдумывал...» — «А вот пойду на пенсию и отдохну... С красоткой!» Смеялся. Знал: Марию хлебом не корми, дай поворчать, и привык, что она против всего, что может затруднить его здоровье...

Пришел Иван Федорович с войны с одной-единственной, но серьезной раной. В саду у той высоты пуля прошла заподлицо с сердцем, только толкнула его горячим боком. И то ли это повлияло, то ли еще что, но стал Иван Федорович носить в кармане нитроглицерин. И Мария всегда была настороже. «Иван, ты куда опять фуфайку начищаешь? В колхоз собрался? Не пу-щу!» — кричит, бывало, она, вырывая ватник из рук. Иван Федорович не выдерживал: «Вот блажная! Ты чего голосишь по мне, как по покойнику?! Помощь моя тут тебе не нужна! В магазин сходить у самой силы хватит. А там!.. — кивал на дверь. — Там другое дело! Ты подумай сама: кому хлеб-то убирать?! А я и трактором, и комбайном владею». Забирал ватник и уезжал...

«Петьку, что ли, усыновить?.. — подумал неожиданно Иван Федорович. Мысль эта показалась ему тревожной и привлекательной. Он приподнялся на локте. Представилось: вихрастый, белобрысый Петька смущенно глядит в сторону, в одну точку. — Как бы он, интересно, отнесся?»

Иван Федорович осторожно, чтобы не разбудить боль, встал, кое-как собрал инструмент, понес в домик. В маленьких сенцах, в углу, где была устроена инструменталка (так называл он полки, прикрепленные к стене петельками), бросил грабли и лопату на пол. Запер дверь, вышел.

Солнце било в спину. Высоченные тополя, росшие вдоль ограды, бросали тень в сад, за штакетник. Рябая от солнечных пятен тень манила. Но Иван Федорович упрямо отворачивался от нее, поглядывал в другую сторону, туда, где в зыбких струях колебались окончатые прямоугольники окраинных городских домов. Там, через какие-то три-четыре километра, — трамвайное кольцо. Больше хаживали!

Обогнув угол садовой ограды, за которым была автобусная остановка, он грузно сел на широкую лавку. Оглядел дорогу. Пусто. Автобусы к ним сюда ходят через раз... Прорычал трубовоз. Пролетел «газон» с тощими коровами в кузове. Протрещал «Запорожец» с большим кошельем на крыше.

Иван Федорович прислонил ладонь к груди: стучит и сильно стучит!.. Но какое-то зудящее нетерпение толкало его с места, будто шептало: не опоздай!..

Асфальт был положен недавно, шагать по нему было душно. Разогретый не по-весеннему жарким полуденным солнцем, не остужаемый ветром, он дегтярно бил в нос; резкий запах застревал в горле.

Иван Федорович свернул на обочину. И тут не лучше. Придорожная трава валяпана грязью: не зеленая, а серая, при каждом шаге взрывается фонтанами пыли.

Сзади заурчал мотор. Ивана Федоровича догонял ЗИЛ. Доски в кузове распирали борта, мотались концами по земле. «Что ж он без прицепа?!» — чуть не выговорил Иван Федорович вслух. Но руку все же поднял. Шофер в ответ махнул куда-то влево, и доски, сильно прогнувшись на выбоине, чиркнули по асфальту.

Иван Федорович еще раз с надеждой поглядел на шоссе. Длинная серая лента была пуста. Он отошел подальше от обочины, туда, где молодая трава зеленела сочно и не было пыли, постоял немного, держась за сердце, и двинулся дальше — к подрагивающему в мареве трамвайному кольцу. Изредка бормотал сквозь зубы:

— Ничего, Петро... Как-нибудь... Мы еще повоюем...

И все чаще засовывал руку под пиджак, гладил ладонью левый сосок, будто успокаивал капризного ребенка. Но боль в груди стала такой сильной, что он сначала присел, а потом прилег на правый бок, примяв желтые медали одуванчиков.

Бабочка опустила на одуванчик перед глазами Ивана Федоровича, сложила белые крылышки, развела их в стороны и опять сложила. Он увидел на ее радужной головке две тонюсенькие черные палочки с шишечками на концах — точь-в-точь вязальные спицы.

Иван Федорович застонал. Бабочка испуганно вскинула крылышки, часто замахала ими, боком, заваливаясь, улетела.

Такого, пожалуй, еще не бывало. Случалось, прихватывало, сжимало, но пил лекарство, и расслаблялось, отпускало. А тут зажало в клещи и бьет, бьет так, что плывут перед глазами похожие на одуванчики кругляши...

— Эт-ту... нель-зя... эт-ту нель-зя...— Он стал подыматься. Распрямился с усилием. До асфальта было два десятка шагов. Ступил несколько раз, за ногу дернула проволока, кулем свалился в траву. В голове поплыл непрерывный гул. Он опять оперся на руки, подтянул к животу колени, встал на четвереньки, с трудом, будто на шею повесили двухпудовую гирю, медленно разогнулся, выпрямился в рост, пошатываясь, пошел к дороге. Напрягся, поднимая тело на щебеночную обочину. Под ногами хрустнула галька. И едва не упав вторично, Иван Федорович не шагнул, а косо выступил навстречу красной машине. Нос «Москвича» замер возле него, чуть не толкнув в пояс. Иван Федорович не удержался, оперся руками на горячий капот и ощутил масляный запах, такой знакомый по цеху. Он с трудом поднял голову, посмотрел на ветровое стекло. Увидел полного лысеющего мужчину. Водитель вцепился белыми пальцами в верх баранки, навалился на нее грудью. Огромные голубые глаза впились в Ивана Федоровича.

— Пе-тя... сы-но...

Локти его вдруг подогнулись, и он ударился щекой о капот, не почувствовав боли, стал медленно сползать по красному гляncу, стараясь удержаться сильно растопыренными пальцами.

Последнее, что ощутил Иван Федорович, было: чьи-то сильные руки подхватили его и бережно понесли куда-то.

НАДЕВАЙТЕ ТАПОЧКИ

Позже я понял: Ксения, наша соседка снизу, с четвертого этажа, человек не такой уж простой, но от этого легче не стало...

Ксения колотила по батарее отопления какой-то железякой, думаю, что молотком, и еще думаю, что лежал он у нее, наверное, под подушкой, не иначе, потому что грохот этот в ночной тиши возникал так внезапно, что я вздрагивал, и тут же слышал, как вскакивает Вера и с пронзительным «о-о-о!» летит к разбуженному грохотом Мишке.

Он плачет. Жена злится. Я подхожу к ним и, вспомнив о недавно вычитанной в книжке аутогенной тренировке, приказываю себе: «Спокойно... спокойно... спокойно...» Закрываю глаза, глубоко вдыхаю воздух, пытаюсь подавить раздражение, начинаю сонным голосом мурлыкать что-то заунывно протяжное, чтобы притворным спокойствием этим усыпить сына.

А Вера мчит на кухню, к аптечке, стучит пузырьками, шуршит упаковкой таблеток.

«Какие мы все нервные, просто спасу нет!» — думаю я сначала про соседей, потом про жену, а потом и про работу — там, конечно, не стучат по батареям, но, когда заводишь с начальством речь о жилье, сердце после этого прыгает тоже очень долго.

Кое-как успокоив сына, я ложусь в постель, закидываю руки за голову и впиваюсь глазами в светлое пятно на потолке. Жду жену, чтобы сказать ей: сын не виноват, что на свете полно дураков. Собираюсь сказать ей это спокойно и, если понадобится, двумя-тремя емкими фразами втолковать: неразумно на-

строение семьи ставить в зависимость от внешних раздражителей; ведь что же получится — меня отчитает на работе начальник, а я приду и наору на них с Мишкой? Глупо... Но предугадываю Верину реакцию: пошлет к черту! Снова раздражаюсь. И опять призываю себя к спокойствию.

Вера возвращается с кухни, громко топая по полу голыми пятками. Шаги ее набатно ухают в ночной квартире. Я вдавливаюсь в постель, жду, что Ксения ответит на этот Веркин вызов и ночная дуэль не кончится до утра.

Одно время я не на шутку боялся, что Вера, как и Ксения, будет класть под подушку молоток, и спрятал его от греха подалее. Но, славу богу, у жены хватило ума не копировать глупость. Зато не хватало на другое. Бросившись в постель, она втыкала локоть в подушку, приподымалась воинственно и мстительно отчитывала меня за мою мягкотелость, за мой рыбий характер, потому что его не хватает даже на то, чтобы поставить на место нахалку с нижнего этажа.

— О том, что ты добьешься когда-нибудь собственной квартиры, я уж и мечтать перестала! — доканывала меня жена.

Я злился, но, пропустив мимо ушей убийственную реплику о собственной квартире и кое-как сдерживаясь, пытался все-таки доказывать: нельзя опускаться!

— Это же больной человек, разве не ясно? — говорил я, надеясь, что обойдется без ссоры.

— Не я-яс-но! — передразнивала Вера и, качая головой, выдыхала: — Да сколько можно тер-петь?!

Тогда я приставлял к ее лбу, как пистолет, указательный палец, слегка отодвигал ее голову и говорил назидательно:

— Не ши-пи!

— Идиот! — звучно шлепала она по моей руке.

Устав от бесполезных слов, я замолкал. Постепенно остывала и Вера. Но всегда, уже засыпая, я слышал ее ворчание.

Впрочем, все это началось потом, когда мы прожили на этой квартире недели две-три. А сперва жилье нам очень понравилось. Обстановка приличная: мебель, холодильник, телевизор. Но главное — цена семьдесят рэ. По нынешним временам просто дешевка!

Хата — блеск! — решили мы.

Хозяйка, добродушная женщина, передавая ключи, заверила, что нам тут будет удобно, что никто, пока они с мужем за границей, не побеспокоит нас, что соседи — милые люди, да это и неважно, жить не с ними.

И мы стали обживать нашу пятую за последние три года квартиру. Через некоторое время Вере показалось, что мебель стоит не так, она набросала на листочке другой вариант. План тут же осуществили, Мишкину кроватку поставили в маленькой комнатке, там же разместили ящик с игрушками, коробки с книгами. Супружеское ложе устроили на тахте в большой комнате, напротив решили поместить телевизор. Ради этого не поленились передвинуть сервант и шифоньер. Я при этом был кореником, Мишка — пристяжной, а Вера, конечно, кучером. Делали все с шумом, смехом. Нам было приятно «вить гнездышко».

Тут-то и прозвучало первое предупреждение. Стучали так, что наша батарея издавала частые высокие ноты, характерные для чугуна, когда по нему колошматят не жалеючи.

— Это еще что за музыка? — спросила Вера.

— Туш! В честь нашего новоселья, — усмехнулся я. — А в общем-то действительно... Не слишком ли мы разошлись? Дай-ка лимонную корку.

— Зачем? Пойдешь к соседям чай пить? И заодно объяснишь им, что, пока мы переставляем мебель, можно было потерпеть?

— Не угадала. Подложу под ножки шкафа...

Повозмущавшись, да и то скорее для порядка, мы в тот раз решили: мало ли, может, наша резвость помешала кому-то спать, а ему рано на работу... С помощью лимонных корок более-менее бесшумно передвинули мебель на облюбованные места, и остаток вечера прошел мирно. А потом были праздники, и мы на несколько дней уехали. Вернулись, совсем позабыв о том случае.

Вскоре была получка. Я, помню, купил кое-каких продуктов. Сыну подарил маленький синий стульчик. Все были довольны. Вера возилась на кухне. Я читал газету. Мишка пытался прыгнуть со стульчика на пол. Я придержал стул, а Мишка, надувая

щеки и шатаясь, влез на сиденье. «Давай, давай!» — подбодрил я. Мишка вцепился ручонкой в спинку стула, осторожно опустил на пол сперва одну ногу, потом победно шлепнул рядом другую — вроде бы прыгнул. И от радости завизжал. Мне стало смешно, я решил помочь ему прыгнуть по-настоящему, подал руки — он смело ухнул обеими ногами. Снова взобрался на стул и снова прыгнул, потом еще и еще...

— Бу-бу-бух! — взорвалась батарея.

Мишка насторожился, подошел к радиатору и приложил ухо. И снова с радостным воплем кинулся к стульчику. Я отказался продолжать игру.

— Они что, с ума посходили?! Ну, я им щас! — Вера кинулась к двери, я едва успел схватить ее за руку.

— Не дергайся! Нам здесь еще жить и жить!

— Жить?! В этой барабанной мастерской?! Да ты чокнутый какой-то! Что ж мы так и будем терпеть этот грохот? Будем терпеть, да? Они будут колотить, а мы подопрем головку кулачком, будем слушать и наслаждаться? Ты к этому меня призываешь?

— Перестань. Там тоже люди... А Мишка прыгал...

— Подумаешь! Сходи к ним сейчас же! Иначе они отравят нам всю жизнь!

— Да что ходить?! Что ходить?! Неужели они сами не понимают, что слышим их не только мы, а все, весь подъезд?

— Не разрешаешь мне, иди сам! — напирала жена. — Это будет даже лучше, веселее!

Я покачал головой. Мне тогда казалось, что это просто недоумение, стечение обстоятельств, не больше.

Однако трезвон стал раздаваться по любому, самому пустячному поводу. Неосторожно двинули табуретку — бах! Мишка машину прокатил — тоже бах!

Вера требовала возмездия. И воздать его должен был я — глава семьи. А я терпеть не могу объяснений! Даже с Верой. Когда она начинает на высоких нотах говорить со мной о чем-то, на мой взгляд, невозможном, я долго не знаю, что ей ответить, как убедить. Только мотаю головой и молчу. Нужные слова при-

ходят мне на ум, как в поговорке, опосля. Тут же надо было разговаривать с совершенно незнакомыми людьми. Бог ты мой, разговаривать... Легко сказать!..

Находчивостью я никогда не отличался. Это моя вечная мука. Я всегда завидовал тем, кто с ходу с первым встречным-поперечным начинает болтать, ну о таких уж, кажется, пустяках, что дальше некуда. И ничего — острит, смеется. И встречный-поперечный тоже смеется. Как все просто!.. А у меня... Да вот скажите, бывает с вами такое: вот незнакомый человек, с ним надо говорить ну хоть о чем-нибудь, ну хоть минуту, вы лихорадочно роетесь в голове, а там — пусто, и даже нет, не пусто, а просто все кажется таким незначительным, не стоящим слов... (ну ведь не «как дела?» же спрашивать!..), и вы молчите; тишина, хоть провались; а голова тяжелеет и тяжелеет... Не бывает? А у меня, к несчастью, так всегда — до сих пор...

Я не пошел к соседям. Я поставил «глушители» на табуретки и стулья — прибил к ножкам войлок. Заставил жену купить тапочки на мягкой подошве. Звук у телевизора мы некоторое время включали так, что приходилось к уху приставлять ладонь. Но как «убавить звук» у Мишки? Как? Он, поросенок, мог бы, конечно, вести себя и потише, да поди втолкуй это человеку, которому едва-едва стукнуло полтора. Я пытался одергивать его. Но Вера заявила:

— Не смей мешать ребенку развиваться! Ему необходимо расходовать энергию! А для этого нужны свобода и пространство! Пусть делает, что хочет! И вообще! Не хватало еще, чтобы он вырос тюфтей вроде тебя!

Что я мог возразить на это? Махнул рукой и сказал:

— Играй, Мишка!

Познакомились мы с соседом неожиданно. Если не ошибаюсь, месяца через два после новоселья. Да, точно, через два. Был мой день рождения. Пригласили гостей. Как-никак круглая дата — тридцать пять. Все было очень мило: пили, ели, танцевали. Шум, гам я не сдерживал. Идет он к черту! Я был смел. И сосед это, видимо, чувствовал — сидел тихо.

В одиннадцатом часу длинный-предлинный звонок. Бегу открывать.

Передо мной — коротышка лет пятидесяти в наглухо застегнутом байковом халате. Руки крепко сцеплены под грудью. Ноги — без чулок, но в толстых шерстяных носках домашней вязки — сунуты в потертые зеленые тапочки. Головка маленькая, лицо круглое — без морщин, даже на лбу; гладкие, без единой сединки волосы стянуты на затылке, ушки торчат, нос остренький, губы — в ниточку, а буравчики глазок так и вонзились в меня.

— Вы што?! Вы што это, а? Извести нас вздумали?!

«Вот он, враг!» — пронеслось у меня в голове. А коротышка сыпала:

— Шукатурка!.. Шукатурка с потолка валится! А им хоть бы что! У меня там!.. А они!.. Не-ет, это вам так просто не пройдет! Я вам это так... не разреш-шу! В домоуправление пойду!

Я растерялся.

— Но... все в рамках... нет одиннадцати...

— В ра-амках?! В рамках, говорите?! И как у тебя, бесстыжего!.. — Она не договорила, покачала головой: — А еще антилигент! При га-алстучке!

Хорошо, что не было на мне шляпы. Но «галстучек» задел все же крепко.

— Извините! — сказал я. — У меня день рождения! — И хлопнул дверь.

Было слышно, как она, спускаясь по лестнице, что-то кричит, но что — я не разобрал. Стоял и тупо смотрел на дверь. И почему-то обида и стыд одинаково сильно теснили грудь. Меня увели в комнату, пробовали успокоить. Но ее слова «а еще антилигент!» засели во мне, как гвоздь в стенке.

— «Антилигент!»! «Антилигент!»! — передразнил я. — Да какое она имеет право?! Что она вообще в этом понимает?.. «Антилигент»... Хм, значения даже не знает!

— Перестань! — сказала жена.

— Брось! — поддержал Веру мой друг Володя. — Ну прибежала и прибежала. Бог с ней! Давай-ка лучше вот...

— Как это брось? Да ты понимаешь?.. Она не знает даже, а говорит!

- Ну что она тебе далась?! Ведь ты-то знаешь!
- Я? А ты?
- Здрасьте! Приехали! Да кто же этого не знает?!
- Ну-ну! Объясни! Я послушаю...

Вмешались другие гости, начали наперебой втолковывать мне значение слова «интеллигент». Но все их толкования я отметал напрочь. Они казались мне неполны, скудны. Я полез в книжный шкаф за словарем, чтобы доказать им всем, что они «мелко плавают». Шарил на полках, но словарь куда-то запропастился. Я стал звонить знакомым. Гости начали расходиться без предупреждения. Жена обозвала меня невежей. Я с досадой махнул рукой — отвяжись! Наконец дозвонился до соседа по рабочему кабинету, у которого, я знал, есть большая энциклопедия. Он прервал меня на полуслове.

— Старче! — сказал он. — Ты совсем охамел! Трезвонишь в полночь, поднимаешь людей с постели, чтобы спрашивать такие глупости!

— Глупости?! Это не я, а ты...

«Пи-пи-пи», — послышалось в трубке.

— Ну что? Выяснил свою сущность? — язвительно спросила Вера, разбирая постель. Я не ответил, ушел на кухню.

— Где словарь?! — крикнул я ей оттуда. — Ты разбирала книги. Куда девала?

Вера появилась на кухне в ночной сорочке и продекламировала:

— Хва-тит!.. Ин-те-лли-гент! Ложись спать спокойно! Мишке дай поспать, если мне не даешь!

— Где словарь? — снова спросил я.

Жена махнула рукой и ушла в комнату.

Я согрел чайник. Чутьочку успокоился. И на цыпочках пошел шарить по квартире, искать словарь. Нашел его в Мишкиной комнате, в нераспакованном ящике, возвратился на кухню.

— Так-так-так, — нетерпеливо бормотал я, вороша страницы, — инжир... инструкция... инсульт... не то! Вот! Человек, принадлежащий к интеллигенции... Не густо! Та-а-ак... — Строчки расплы-

вались. Я торопился. — Ну-ка, ну-ка... Ага! Социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда... допустим! обладающих образованием... нет спору! и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры... Н-нда-а... — Это было все. Я потер лоб. Задумался. «Специальными знаниями в различных областях...» Во всех сразу, что ли? Ну, нет, это невозможно... Значит, в каких-то? В каких? Какие знания делают человека интеллигентом? Литература, музыка? Но знания ли это? Скорее это то, что дает какое-то знание... А что еще? История, философия, эстетика, этика... Стоп, стоп! Да тебе-то, технарю, кто эти знания мог дать? Школа? С ее литературными «типами» от сих до сих? Смешно! Стоит только вспомнить литераторшу Фаину Игоревну: «Ребята, кто раскроет образ Фамусова?» И раскрывали, еще как раскрывали: такой, сякой! Садись, «пять». А кто такой Грибоедов? Что думал, к чему стремился? До сих пор тайна! И вряд ли хватит времени, терпения и желания ее раскрыть... А по истории параллельно с «Горем от ума» проходили, пробегали Германию, Англию... Пение, рисование? Тоска! О Чайковском, Мусоргском, Бородине до сих пор никакого представления, кроме отдаленного. Так... Что-то слышал потом. А что знаешь? Имена, имена... Ни-че-го, кроме них! Ни-че-го! Принесла хоть раз проигрыватель на урок ваша певичка? Черта с два! Дальше, дальше... Институт? Там уж не до истории, не до философии, не говоря уж об эстетике... Успеть бы спецпредметы вызубрить, суметь бы экзамен не завалить! Вот и все специальные знания в различных областях... А ведь делают! Настоящие-то знания... Должны бы делать...

Я стянул галстук, брезгливо посмотрел на него и швырнул на холодильник. Вспомнил застиранный байковый халат соседки.

— Вышли мы все из народа, — мрачно пропел я.

— Заткнись! — донеслось из комнаты.

Я будто не слышал, рассуждал.

— Вышли... Кто-то вышел кто-то остался... Она вот осталась. А ты? Вышел? Хм, выскочил!.. С печи на полати на кривой лопате... Как там у Тургенева? Мой отец землю пахал... Гордишься втим! Приедешь в отпуск, поможешь старикам картошку выко-

пать, и туда же — корни у тебя крепкие! А здесь чуть что — сразу в кусты! Ну, так уж и сразу? А разве нет? Точно! Что «точно»? А ничего! Забыл? Про доски со склада шефу на дачу? Забыл? А кто грузил, кто разгружал? То-то... Да, может, он их выписал?! А почему тогда кладовщик вахтеру сказал: на новый корпус? Молчишь? Квартира... А-а, то-то...

Я опять поставил чайник. Поставил тихо. Она внизу... Подошел к окну. Из черноты смотрел на меня раздвоенный стеклами мужик. Мужик? Мужик! Антиллигент!.. Тьфу!..

Я отшатнулся от окна. Глубоко вдохнул воздух. Налил чаю. Сел за стол. Закрыв глаза.

Вечером, когда я пришел с работы и мы сели ужинать, Вера припомнила мне вчерашнее. Начали переругиваться. Тут в дверь позвонили. Я открыл: человек шесть! Кто в халате, кто в трико. Соседи. Впереди всех довольно молодая женщина с высокой грудью под спортивной футболкой. Выражение лица у нее... Ну как бы поточнее это... В общем, такие обычно всегда и везде руководят. Остальные смотрят на меня вроде и смущенно, а вообще не разберешь как.

— Извините, что побеспокоили,— говорит руководительница.— Вот пришли к вам познакомиться! Все-таки вы новые люди, а мы соседи. Надо!

Я смутился, отступил.

— Пожалуйста, проходите... Мы рады... Вот, в комнату... Проходите, пожалуйста.

— Да мы и тут,— обвела взглядом прихожую руководительница.— Мы ведь только на минутку! — А сама, вижу, смотрит и делает выводы: дебоширы, не дебоширы?

Вера с Мишкой на руках тут же, за моей спиной стоит. Они напротив. Сразу за плечом руководительницы — высокий плотный мужик в полинялом тренировочном трико, левой рукой на косяк оперся, правой подбоченился, ногу на порог поставил. За ним еще мужчина, постарше и пониже, лысоватый, с добродушным лицом, его под руку держит маленькая женщина с косынкой на голове, за ними — еще пара.

Мать честная!

— Да что там, ясно все! — басит вдруг здоровяк в трико. — Наплела божья коровка! Семья как семья. Пошли, Нина! — Он тронул руководительницу за руку. Та сначала досадливо отдернула локоть, а потом, как бы извиняясь, обернулась и сказала ласково, но твердо:

— Ты иди, Федя. Я сейчас. Иди, Федя, иди!

Федя повернулся и пошел, отстраняя тех четырех, за ним повернула задняя пара, а потом и лысоватый с женой в косыночке. Осталась только Нина. Она стала объяснять, что пожаловалась Ксения, сказала, что у нас каждый вечер оргии, ну вот и...

Я спросил:

— А она, эта Ксения... Не того?

— Да, в общем, нет, — сказала Нина. — Кажется, все в порядке. Старик у нее там... А так, все нормально.

— А раньше, когда хозяева тут были, она тоже стучала?

— Было как-то, раза два за все время... Но это, знаете, мало ли... А тут ведь каждый день! Что и удивительно!

«Милые люди! Жить не с ними!» — вспомнил я напутствие нашей хозяйки.

— Вы уж постарайтесь, пожалуйста, потише, — сказала Нина. — Я понимаю, но вы постарайтесь. Хорошо?

Мы пообещали.

А вскоре опять случился скандал.

Вера не закрыла на кухне воду, оставив тряпку в раковине. Телевизор, видите ли, ее увлек! Ксения тут же прибежала. (А кто бы не прибежал?!) Накричав всякой всячины, заявила, что мы оплатим ей ремонт.

— Вот так! Схлопотала?! — крикнул я Вере. — За свою квартиру платишь, мало кажется? За чужую будешь платить!

— За свою-у! — передразнила Вера.

Я замолчал. Успокоилась и жена. И мы стали прикидывать, сколько дать Ксене.

— Надо бы посмотреть, сильно ли там промочило? — сказал я.

— Вот сходи и посмотри,— сказала Вера.

— А почему ты не хочешь?

— Ну, ты же сам всегда меня останавливаешь! Боишься, что я ее обижу!

— Не говори ерунду!

Мы так и не сходили к Ксене. И не собрали ей денег. Встречаясь с ней на лестнице, я скороговоркой мямлил «добрый день» и старался побыстрее пройти мимо. Она же свое «здрасьте» проговаривала всегда с улыбочкой, смотрела прямо, и мне чудилось: в глазах ее светятся злые огоньки. Поднимаясь от нее вверх по лестнице, я хотел и боялся обернуться, а по спине прокатывался неприятный холодок.

В одну из таких встреч она сказала мне в спину:

— И ходите, и ходите по ночам! И что это вы все ходите?

Я вздрогнул и обернулся. Она смотрела мне прямо в глаза. Я опустил взгляд и развел руками.

— К ребенку...

— Ну к ребенку! А топать зачем?

— Мы не топаем. Ходим нормально.

— Да как же не топаете, если грохот стоит? Хоть бы тапочки надевали!

— А мы, по-вашему, босиком?

— Уж не знаю! Босиком ли, сапоги ли надеваете, может, специально, а только слышно очень.

— Мы-то здесь при чем? Строителей ругайте.

— Как при чем? Топают-то не строители, а вы!

— Ну не знаю... На ковер у нас денег нет,— сказал я.— Извините, мне надо идти...

Я повернулся и пошел. Вслед мне неслось:

— А нет ковра, ходите потише! А то топаете! Смотрите, я на вас управу найду! Моду взяли, по полу брякать! Ковров, вишь, у них нету. А нету, так наживите! Вы люди ученые! А людей не тревожьте!

Был конец апреля. Воскресенье. Погуляв с Мишкой во дворе, понежившись на весеннем солнышке, мы возвращались домой. Сын карабкался по лестнице, я ему помогал. Мишке хотелось самостоятельности. Он громко, сердито верещал, отталкивая мои руки, но всякий раз резко заваливался на спину, я ловил его в последний момент. Доползли до четвертого этажа. Тут дверь Ксениной квартиры распахнулась, на пороге стояла она сама.

— Зайдите-ка ко мне.

Я растерялся. Накануне ночью было тихо. Чем она еще недовольна? Может, про ремонт?..

Мишка был смелее. Он уже переступал через порог, а Ксения давала ему дорогу. Вдруг она нагнулась, подхватила Мишку под руки и так, согнувшись, повела его на кухню. Что за спектакль?! Я тоже шагнул в прихожую, боясь выпустить сына из виду. Невольно глянул по сторонам. Двери в комнаты закрыты, в коридоре чистенько, на полу коврик домашней вязки, но запах какой-то специфический. Я остановился у поворота на кухню. Ксения дала Мишке красное яйцо и пирожок. Пирожок Мишка сразу потащил в рот. А Ксения проговорила:

— От так, маленький, от так. Ешь на здоровье, ешь.

— Зачем вы?! У нас все свое есть! — почти крикнул я.

Ксения повела Мишку ко мне.

— Есть, да не тако-ое,— и наклонилась к Мишке.— Ешь, маленький, ешь на здоровье.

Не зная, как закруглить наш уход, я промолвил:

— Миша, ты бы хоть «спасибо» тете сказал.

— Какое ему еще «спасибо»-то,— отозвалась, глядя на Мишку, Ксения.— Ему сейчас братство милее богатства.

У меня чуть не вырвалось: что вы имеете в виду? Но я прикусил язык и буркнул:

— Спасибо. Пошли, Миша. Скажи тете «до свидания».

Ксения кивнула. Потом закрыла дверь. Я подхватил Мишку на руки и, ошеломленный, быстро прошел два пролета лестницы, позвонил домой. Едва открыв дверь, Вера спросила:

— Что случилось?

— Ничего. Ксения Мишке яйцо дала и пирожок.

— Зачем?!

Я пожал плечами. Вера выхватила у Мишки заеденный пирожок и яйцо. Пирожок сунула в карман халата, а яйцо протянула мне.

— Верни сейчас же!

Мишка заплакал, но она, не обращая внимания на его рев, стала снимать с него курточку. Взглядывала на меня снизу вверх.

— Куда ты смотрел?!

Я пожал плечами и хотел пройти мимо, но Вера заставила рассказать, как было дело. Выслушав, подытожила:

— Тоже мне христианка нашлась!

Я не ответил, ушел в комнату. Ксенины слова о братстве, которое для Мишки милее богатства, не выходили из головы. Я встал у окна и заложил руки за спину. В одной из них было яйцо. Я смотрел вниз, на улицу, и странные мысли мелькали, будто кто-то шептал их мне, а я повторял: «Вот деревья растут. Трава зеленая. Человек по траве ходит, топчет ее и не думает даже, что топчет... В трамвае локтем другого толкнет и не извинится. Плечом на тротуаре заденет, даже не обернется. Заставит доски на дачу таскать — так и надо. А потом идет в бассейн и плавает по абонементу. Доволен! Все хорошо!.. А для нее жизнь — как струна: дом — работа, работа — дом и опять работа... Приезжает некто и разговаривает сквозь зубы или не здороваются... Ч-черт! Да ведь стучит же! Но почему стучит, почему?..

Тебя учили в школе, учили в институте и не научили главному: видеть в другом человеке человека, ценить другого просто за то, что он человек, такой же, как ты. До такого предмета, как человековедение, не додумалась еще ни одна академия. А вот она его тебе преподала очень наглядно... В человеке человека... В шефе тоже? Да что шеф?! А ты в себе-то его видишь?!»

В комнату вошли Вера и Мишка. Увидев у меня в руке яйцо, Вера раздраженно спросила:

— Ну что ты его держишь?! Что держишь! Ты его есть будешь?

Ее последние слова поставили меня в тупик. Я представил, как, очистив красную скорлупу, засовываю яйцо в рот и, давась, жую. Не на подоконнике же его хранить в самом деле... Я вдруг разозлился, обернулся и крикнул:

— А почему бы нет?! Почему бы нет?! Дело не в цвете! Дело в другом! Но ты этого не поймешь! — Я резко ткнул пальцем в Мишкину сторону. — Вот он понимает лучше!

— Ду-у-рак, — пропела Вера. — Умник нашелся!

Я распахнул форточку и с силой швырнул яйцо на улицу. Описав дугу, оно шлепнулось в траву, и от него брызнули осколки. Откуда-то слетелись воробьи и стали шустро попрыгивать в том месте. Вера молча вышла.

В тот вечер мы почти не разговаривали...

И еще раз увидел я Ксенину дверь открытой. Она была распахнута настежь. В прихожей стоял старик. Он держался рукой за косяк и смотрел на меня в упор. Я невольно замер, будто кто-то уперся мне в грудь. Больше всего поразили его ноги. Не ноги, а кости, обтянутые желтой кожей. Колени ходили ходунком, но не мелко, как это бывает у людей на нервной почве, а медленно, ритмично, словно от перенапряжения. Старик был в белой рубашке, доходившей до половины бедер. Лицо с глубоко утонувшими в темных кругах глазами, с острым, высохшим носом и провалившимися, будто нарочно втянутыми внутрь щеками — сплошная мука.

— Ох, умру... помоги...

Я вздрогнул.

— Как помочь, отец? — Я шагнул к нему... — Я вызову «скорую»... — и побежал вниз, к телефону-автомату.

Когда я возвращался, дверь была уже закрыта. Мне почему-то вдруг представилось, что старик корчится там, за дверью, стоя на коленях... «Надо помочь. Надо...» — стучало в висках. Я спустился на нижний этаж. Хлопнула дверь, и на площадку вышел здоровяк, одетый в линялое трико. Кажется, его звали Фейдей. Он всегда курил на лестничной площадке. В тот раз,

когда соседи приходили с нами «знакомиться», мне понравилось и запомнилось, как он сказал: «Ясно все, семья как семья». И, сталкиваясь с ним на площадке, я останавливался, считая себя обязанным переброситься с Федей словом. Он любил футбол, болел за киевское «Динамо» и почти всегда заговаривал об очередной игре. Я не любил футбол, но не показывал виду и поддакивал. Мне почему-то казалось, что признаться Феде, что не люблю футбол, неловко. Он говорил, махал руками. Я стоял, кивал и ждал паузу, чтобы перевести разговор на то, что меня действительно занимало.

Федя, увидев меня, улыбнулся:

— Ну как вы там? — спросил я, кивая на дверь его квартиры и подняв глаза к потолку.

— А-а, да ничего. Терпим!

— Слушай, а они давно здесь живут?

— Кто они?

— Ну, Ксения с этим... с отцом своим?

— А, ты вон про кого... Да вместе вселялись. Мы с Нинкой тут уже лет десять живем. А что?

— Да так просто... А ты не знаешь, что с ним?

— С кем?

— Да со стариком этим?

— Хрен его знает! Да что он тебе дался?

Я пожал плечами. Федя усмехнулся.

— Плюнь ты на нее! Или пошли разок...

— Что ж она, и так не понимает? Вы бы лучше с ней поговорили. Ты бы вот взял и поговорил.

Федя вытаращил глаза.

— Она же не мне стучит, а тебе!

— Да ты-то тоже небось до потолка подпрыгиваешь!

— Да, это так... — Федя помрачнел. — Ничего-о! Кошелка с крестиком! Дождется она у меня! Я ей по-соседски организую травматологию!

Прошли два года. Был февраль. Мы получили открытку от хозяев, что они приезжают через месяц. И опять к бесконечным укорам жены в моей неспособности выбить свой угол, к не менее бесконечным хождениям по начальству, всякий раз завершавшимся обещаниями, прибавилась застарелая забота: надо искать новое пристанище. Взбудоражив знакомых, расклеив на столбах кучу объявлений, я перед самым приездом хозяев нашел-таки комнату в коммуналке. Но был рад и этому. Упаковал чемоданы, заказал машину.

Было часов десять вечера. Последний раз на этой квартире мы с женой пили чай. Вера зачем-то встала и, как всегда, резко отодвинула табуретку. Через минуту в прихожей раздался знакомый длинный звонок.

— Ну вот! — сказал я. — Достукалась? Готовь деньги на ремонт!

У порога действительно стояла Ксения.

— Можно, зайду? А то через порог неудобно вроде, — начала она.

— Конечно, конечно... входите...

— Я к вам поговорить...

— Может, на кухню? Чайку... — Я разволновался.

— Благодарствую. Я и тут... Говорят, вы уезжаете?

— Да-а, вот...

— Когда думаете? Завтра?

— Завтра.

— А я узнала... Думаю, надо зайти, успеть. Слышу, вы дома. Ну так вот...

Обычно решительная, напористая, она говорила с запинкой. А я лихорадочно соображал: «Сколько она запросит? Тридцать? Сорок? Что делать? Отказать? Стыд... А где взять? Нет, надо отказать. Морду колуном и — нет денег, и все. Да их и так и так нет. Господи...»

— Вот пришла к вам... Сказать вам... Просить прощения у вас! — сказала вдруг Ксения и низко наклонилась.

Я оглянулся: Вера стояла, прижав пальцы к губам.

Ксения стала быстро говорить:

— Мы же люди. Люди все же, а люди должны прощать друг друга. Все прощать. Не поминайте лихом, если что не так делала. Я вам зла не желаю. Простите. И вам бог простит.

Она быстро повернулась и ушла. А мы с женой долго растерянно смотрели друг на друга.

Прошло еще два года. Я стал забывать о Ксене и о всех переживаниях, связанных с нею. Лишь изредка я рассказывал эту историю, как забавный анекдот. Последний раз это было на днях, на нашем новоселье. Да-а! Я получил-таки квартиру! Свою! Собственную! Доказал-таки жене, что я тоже кое-чего стою! И хотя квартира была маленькая, однокомнатная («Буферный вариант! — успокоил меня шеф. — Скоро получишь другую, гораздо больше!»), но это была уже моя квартира. Я вырос в собственных глазах, стал увереннее в своих силах. Меня всего распирало от радости, гордости, воодушевления, грандиозных планов по дому и по работе и черт знает чего еще, когда я подходил к своему подъезду своего двенадцатизэтажного красавца дома.

Я уговорил жену не торопиться с кредитом на покупку мебели. «Давай подождем, когда пустят лифт! Ведь живем же мы пока без газа, с электроплиткой!» И она согласилась. Мы теперь живем дружно!

А вчера я встретил в своем подъезде Ксению. И странно, мне было приятно ее видеть.

— Здравствуйте! — бодро сказал я ей. Она поклонилась со своей всегдашней улыбкой. «А не так уж она противно улыбается, — подумал я. — Черт! Что значит обстоятельства!»

— А мы теперь здесь живем! — сообщил я ей.

— Получили, значит, отмаялись?

— Отмаялись!

— Ну дай вам бог здоровья.

— Спасибо! А вы как здесь? В гости к кому-нибудь пришли?

— Нет, домой.

— Как домой?! Вы же там!..

— Была там, а теперь здесь. Тятеньку схоронила, упокой, господи, его душу грешную, и попросила квартирку поменьше. Куда мне одной две-то комнаты?

Сердце мое заныло.

— Если не секрет, в какой же квартире живете?

— Какой тут секрет? В сто шестнадцатой.

Я почти выкрикнул:

— Да это же под нами!

— Ну вот и хорошо,— сказала Ксения.— Соседями будем...

Я поднялся на свой этаж, достал из кармана ключи, я пытался открыть свою дверь и не попадал в скважину ключом, но почти не замечал этого: ум мой силился вытащить из темноты памяти на свет какие-то Ксенины слова... что-то связанное с Мишкой... какие-то хорошие слова...

ЗАГРАНИЧНАЯ ИГРА

Наверное, уже часов двенадцать, а они все лежат в кроватях и стараются не вставать, даже заставляют себя глаза не открывать: вдруг сон переборет эту тянущую пустоту внутри и, как наркоз, избавит от нее хоть на полчаса, хоть на пятнадцать минут еще... А солнце бьет в окно их комнаты на втором этаже, и Надины глаза открываются сами собой, взгляд скользит по колеблющимся теням веток на стене, по двум стоящим у дверей аккуратно заправленным кроватям соседок по комнате, и эти две подушки на тех кроватях, взбитые, пухлые, положенные «углом», мешают уснуть больше всего. Они прямо кричат, вопят о том, что на свете есть сытая жизнь и есть пирожки, которые умеет печь только мама.

Надя крепко смежает веки, но воображение тут же рисует театральные буфеты: подносы с бутербродами — и с колбасой, и с белой, и с красной рыбой, пузатые кувшины с разноцветным соком, бурые ряды бутылочек с водой...

— Хорошо сейчас Гальке со Светкой! — вздыхает Лена. — Уехали на каникулы домой и правильно сделали! Это только мы, дуры, могли дом на театры променять. Ну еще бы! Хоть раз в жизни вволю походим! А то пролетят пять лет в Москве, да так ничего и не увидим!..

Надя вскидывает голову, встречает сердитый Ленин взгляд и опять тычется затылком в утрамбованную за ночь лепешку общежитской подушки. Молчит. Хотя камень — в ее огород. Это она уговорила Лену в эти зимние каникулы походить в театры.

Ничего подобного за два с половиной года учебы на филфаке они себе не позволяли. Бывали, конечно, изредка и в театрах, и на концертах эстрады. Но больше — читалка, читалка: боялись вылететь из университета. А тут вроде как сошлось: обе удачно, без «хвостов» сдали сессию, и деньги остались. И что-то стало жаль их Наде тратить на дорогу. Ну что дом? Все туда да туда. Проездишь двадцатку, и все. А тут столько еще интересного!.. И она предложила Лене не ездить. «Давай лучше все самые хорошие спектакли посмотрим! Хоть раз в жизни...» Лена сначала отнекивалась: «Мама расстроится...» Но Надя уговорила. И все шло хорошо. Ходили в театры каждый день. Не в тот, так в другой. И действительно посмотрели несколько лучших спектаклей в разных местах. Билеты, правда, пришлось «ловить» перед началом у дверей и даже за сто метров от входа — в кассе то не достанешь, но зато впечатлений сколько! А вот за позавчерашнюю «Таганку» эту — теперь получай...

Ведь все было бы нормально, если бы не билеты с рук, у парня — и откуда он только вывернулся?! «Кому?» — Поднял кулак. «Мне!» — откликнулась Надя. «По червонцу! Для такого спектакля — дешевка! Но и это только потому, что вы берете! Я бы с вами сам пошел, причем с большим удовольствием!» — И уже сунул билеты ей в руку. Она смешалась, но и отказываться было стыдно: сама напросилась. «Быстрее, быстрее, девочка! Я спешу! — торопил парень. — К сож-жалению!» А ближе ко входу она опять услышала его голос: «Кому?!»

Ведь если бы не он, дождались бы они стипендии спокойной. Два дня, сегодняшней считая, и осталось-то всего...

— Ну что молчишь? Уснула, что ли? — ворчит Лена.

— Уснешь с тобой...

— С то-бо-ой! Что делать-то, говорю, будем?!

— А ты чё кипишь, как холодный самовар?! Что делать...

Бери вон в кошельке последний рубль и беги в столовую! — отвечает Надя и вдруг неожиданно для себя, как в детстве, громко, обиженно всхлипывает, кричит, кривя губы: — Я что, виновата, что все деньги у меня были, а он по столько запросил?! Спектакль-то какой! А когда бы мы его еще посмотрели?!

Лена молчит. Засопела подозрительно. И Наде вдруг становит-

ся так жалко и себя, и ее, что она рывком отбрасывает одеяло и в один прыжок оказывается на Лениной кровати, тыкается в острые лопатки мокрой щекой.

— Ну, хватит! Ну не сердись... Ладно?

Лена молчит. Но Надя чувствует, как расслабились мышцы на ее худенькой спине, и крепко обнимает подругу.

Несколько минут в комнате стоит тишина. Слышно, как за узорчатым от мороза низом оконного стекла с неравными промежутками скрежещет ослабевшая жесть. Ветер... И холодина, наверное... А на печке дома валенки, поди, горячие. Вот бы надеть сейчас... Вдохнула. Думать об этом — только зря расстраиваться. А сейчас — хочешь не хочешь — вставать придется. В шкафу — ни крошки, вчера все подчистили. Можно бы, конечно, в магазин сходить, купить картошки, хлеба... Мяса, масла! Она грустно улыбается. Заварки с сахаром и тех нет.

Шевельнулась Лена. Говорит тихо, почти шепчет:

— Мама, наверно, расстраивается, до сих пор, наверно, меня ждет. А я ей с этими театрами даже не написала, дура... И продуктов в этот раз никаких не послала. Думала, сама поеду... А что ей этот килограмм мясных продуктов на месяц по талону? Твоим хорошо, они в деревне живут. А у нас в городе сама знаешь, в магазинах шаром покати. А на рынок идти, ей на неделю пенсии не хватает. А она еще и мне шлет... Работать пошла, убираться...

Это откровение звучит так неожиданно и так непохоже на Ленку, насмешницу и хохотушку, что Надя резко приподнимается на локте, хватая ее за плечо и трясет, заглядывая в лицо:

— Лен! Ты чё, ты чё?

Лена осторожно убирает с плеча ее руку.

— Да ладно, ничего, пройдет сейчас. Так, вспомнилось чего-то, тоскливо стало... А-а! Не обращай внимания... — Она растирает лицо ладонями. — Все! Уже прошло! Ну дак ты что молчишь? Что, спрашиваю, делать-то будем? Может, купим пакет картошки да булку черного, нажа-арим, наеди-имся!

— Нет, Лен, я уж думала. Не выход это. Если бы хоть денег чуть-чуть побольше, тогда выкрутились бы. А с этими... Сама понимаешь, сильно-то не разбежишься. Занять бы где-нибудь?

— Где?! У кого? Наших в общежитии, между прочим, осталось раз-два — и обчелся! Я знаю, из семнадцатой двое не поехали да дрын в третьей остался. У Сереги вряд ли... А в семнадцатую идти, я представляю: «Девочки, одолжите, пожалуйста, два рубля», а они тебе: «Ой, а мы к вам собирались идти». Нет уж! Извините! Ты же знаешь, кто там — Воробышкина с Салиной! Домой не поехали, потому что все каникулы друг перед дружкой будут сидеть, курсовые писать. Гениальные! Хотя деньги у них, конечно, есть — это точно.

— А может, все-таки попробуем? Давай я к ним схожу...

— Да перестань ты! Давно не краснела, что ли?

Надя откидывается на подушку и чувствует, что действительно краснеет: так ясно представилось ей вдруг, как встретят ее в семнадцатой: глаза их бегающие, но все видящие — и нерешительность ее, и неловкость внутреннюю; и слова, которые скажет находчивая Салина, будут, если уж и не точно такими, как прочит Ленка, то примерно такими.

Она опять поворачивается к Лене, обнимает ее и растроганно говорит:

— Молодец ты все-таки у меня! Что бы я без тебя делала?

А та вырывается из-под руки, притворно сердито ворчит:

— Ну вот то-то же! — И тут же, сильно прогнув панцирную сетку, проворно садится на колени, хватая Надю за горло, грозно рычит: — Рас-трат-чи-ца!

Обе хохочут. Ленка босиком спрыгивает на пол.

— Ну что, будем одеваться? Давай-давай, живо! А то ишь разлеглась! Зажала рупь, а тут, между прочим, жрать хочется — до немогу! Гадство такое...

Теперь это опять прежняя Ленка, какой Надя помнит ее с первых дней знакомства.

А познакомились они еще перед вступительными. И видно, судьба свела их тогда в одной комнате пятиэтажного корпуса филиала Дома студентов МГУ, куда приехали они поступать учиться на один и тот же факультет — филологический, как оказалось, из одной и той же области. Землячки! Для них это слово тогда прозвучало почти как родня...

Лена ушла умываться, и Надя задумалась. Вспомнила про

дядю Егора... И тут же мысленно поправила себя: дядю Жору! Теперь она все время путает эти имена. Увиделась просторная прихожая, застланная узорчатым соломенным ковриком. Длинноногая Людка — ее двоюродная сестра, в отличие от белобрысого дяди похожая на цыганку...

Грохает дверь. В комнату влетает Лена. Завитушки ее волос мокро блестят. Она вытирается полотенцем и вдруг опять будто мысли читает:

— Слушай, Надя! А может, мы сегодня день визитов устроим, а?

У нее в Москве, где-то возле аэропорта «Внуково», тоже живут родственники, но какие-то дальние, она их никогда не видела и так за все время учебы не была у них, только собиралась, да все ей что-то мешало — то одно, то другое.

А Надя была у родного материного брата уже раза три-четыре. Первый раз, исполняя строжайший материн наказ: «Зайди обязательно! Слышишь? Сразу как только приедешь!» — она отправилась на другой же день после поселения и знакомства с Ленкой. Была суббота. Она выехала часов в восемь утра и, проплутав в метро, нашла наконец и станцию «Маяковская», и нужную улицу недалеко от театра «Современник», за китайской гостиницей, и нужный дом.

Дом оказался не очень большим, но таким внушительным, что у нее сразу неровно забилося сердце, она долго топталась перед подъездом, прежде чем войти. В просторном вестибюле ее остановила старуха вахтерша, осмотрела подозрительно: «Вы к кому?» — «К Щучьеву», — неуверенно сказала Надя. Старуха еще раз осмотрела ее с ног до головы, кивнула: «Пройдите!» И уж в спину добавила: «Георгий Владимирович живет на седьмом!» Надя, не поняв, о ком она говорит, удивленно оглянулась, но, встретив недоверчивый взгляд старухи, ничего не спросила.

Дядя открыл сразу, как только она позвонила. Высокий, стройный, в красивом сером костюме, он стоял, готовый к выходу, с пузатым портфелем в руке, и недоуменно смотрел на нее. Она пролепетала: «Дядя Егор?.. А я вам привет от мамы привезла...» Дядя сразу широко улыбнулся, даже руки в стороны слегка развел, будто обнять хотел: «О-о! Наденька! Вот ты какая стала!

Спасибо, спасибо за привет! Как там?» — «Да все нормально», — смущенно улыбнулась Надя. «Ну вот и прекрасно! Так и должно быть!» — Дядя говорил все это радостно, но тут же как будто помрачнел: «Ты извини, Надюша, я не приглашаю. Сам только на минуту заскочил. Если хочешь, пойдем, подвезу тебя на машине, по дороге поговорим. Тебе в какую сторону?» Надя смутилась, сказала нерешительно: «Может, я потом приду...» — «Смотри, как тебе удобно. Сегодня и завтра меня не будет. А по рабочим дням я бываю дома после девяти вечера. Постой, постой! А ты в Москве-то как? Каким образом?..» — Надя опустила глаза: «Да поступать приехала... На филфак, в университет...» — «О, молодец! В общежитие уже устроилась? — Надя кивнула. Дядя засмеялся, потрепал ее по руке. — Давай-давай, обязательно поступай! Будут сложности, сообщи, что-нибудь придумаем. Ну мне пора!»

Она и не помнит теперь толком, о чем они говорили дальше, пока спускались на лифте, выходили из подъезда на улицу: вся была как не своя. Видит лишь: дядя обгоняет ее, идущую по тротуару, на черной «Волге», оборачивается и машет с заднего сиденья рукой... Когда она вернулась в общежитие и рассказала обо всем Лене, та даже присвистнула: «Везет же тебе! Ты теперь, считай, уж поступила? А я...» — Она махнула рукой.

Но ничья помощь им не понадобилась, обе хорошо сдали экзамены и набрали проходной балл...

Надя лежит, закинув руки за голову. Взгляд ее неподвижно прикован к матовому плафону под потолком. Она почти не видит и не слышит Лену.

— Ну, хватит, хватит! Вставай!

Лена уже надела свое единственное выходное темно-красное шерстяное платье и теперь безжалостно теребит густые светлые волосы ежом массажной щетки. Лоб ее при этом морщится, глаза страдальчески прищурены, уголки губ уползли вверх, а на щеках проступили ямочки — вроде и плачет и улыбается одновременно. Наконец бросает расческу на квадратный стол, стоящий посередине комнаты, приказывает:

— Вставай!

— Да шас, шас!

Лена подходит к окну, прислоняется к подоконнику, скрещивает на груди руки. С минуту молчит, смотрит на улицу, потом роняет:

— Ну так что? Разбежимся по гостям?

— Неудобно...

Лена опять молчит, опять смотрит в окно, не меняя позы, и вдруг говорит бодро, даже весело:

— А чего тут неудобного? Я наконец-то познакомиться приду, а ты навестить!

— Хм, навестить... Я у них, считай, уж года полтора не была.

— Ну и что? Некогда было! Семинары, сессии, стройотряды, то да сё!

— Ле-ен! Что они, глупые?

— Брось ты! Они и не подумают! Пришла и пришла...

— Ну ты же сама меня только что в семнадцатую не пустила!

А к родственникам лучше, что ли?

Ленка снова задумывается, но через минуту пружинисто отталкивается от подоконника, все так же со скрещенными на груди руками поворачивается спиной к окну, садится на низкий подоконник, выпрямив длинные ноги; из-под платья выглядывают острые коленки. Она хитро улыбается.

— Ты, конечно, права-а... Но! — Ее правый кулак с напряженно выпрямленным указательным пальцем взлетает к виску. — Это все-таки ро-одственники! Тут есть нюанс... Салина откажет — и все. С нее взятки гладки. А тут... Тут, между прочим, сложнее... Понимаешь?

— Понимаю, что и тут и там стыда не оберешься!

Ленка неожиданно кричит:

— Да я тебя что, сотню посылаю у них занимать?! Чего стыдиться-то?! Придешь да уйдешь, и ни копейки не попросишь!

— А чё ийти-то тогда?

— Да хоть поешь, и то дело! Что ж они, нелюди, что ли, и не накормят уж?!

Первый смешок, будто электрический заряд, сотрясает Надину грудь и плечи.

— Ну ты чертовка! — Надя мотает головой. — Накормить-то уж, поди, накормят...

— Ну и все! Нам больше ничего и не надо! Собирайся давай! Давай-давай, живо! — Лена подскакивает к кровати, тормозит Надю и припевает: — Давай-давай, живо! Купи бутылку пива! Да выпьем поскорее, чтоб было веселее! — Она подталкивает Надю в умывальник, потом за руку тащит обратно в комнату, беспорядочно кидает ей то платье, то сапоги, вот распахнула пальто, придерживая его за плечики, как швейцар в ресторане. — Обслуживание — высший класс!

— Откуда у тебя что и берется? — ворчит Надя.

Ленка смеется:

— А-а! Не знаю! Мамка у меня в молодости тоже заводная была! На гулянках плясала лучше всех; как рукой поведет да каблуками ка-ак даст! Вот так. Ну? Скоро ты?

— Да постой... Дай хоть расчесаться!

— Нет, это ты постой! — Ленка кидается к столу за расческой, взбивает Надины русые, коротко стриженные волосы. — Все! Прелесть! Хоть сейчас в партер! Пошли!

Пока Лена, закрывая дверь комнаты, возится ключом в скважине плохо работающего замка, Надя смотрит направо-налево по коридору. Пустой и тихий, он похож на тоннель. И шаги их в этой тишине звучат непривычно гулко. Нет ни всегдашнего грома музыки, ни смеха — ничего...

В холле первого этажа справа, у входной двери, стоит вахтерский стол с телефоном — он пуст, а слева, за колонной, — узколистная раскидистая пальма в кадке и ящик для писем. Они сразу хотят пройти к нему. Но из-за массивной квадратной колонны вдруг выворачивается вахтерша тетя Клава. Она наставляет на них «лентяйку», мокрая тряпка на ней угрожающе мотается.

— Ку-уда шары задрали?! Не видите, мою?!

Надя невольно пятится — тряпка может задеть пальто. Ленка кричит:

— Да вы чё, тетя Клава, с ума сошли?! Замараете же!

— А вас и надо!.. Стойте!

— Да нам письма же!

— Стойте! Кому сказано! Домою, потом хоть лопатой их, свои письма, гребите!

Делать нечего. Прислонились к стене, заложили руки за спину.

Внутри у Нади кипит, она взглядывает на Ленку:

— Ну это уж вообще!

— Я же говорю — спятила,— негромко, но так, чтобы слышала и вахтерша, говорит Лена.

В быстром косом взгляде тети Клавы чувствуется желание сжечь их, испепелить, но она молчит и только сердито возит «лентяйкой» по влажно лоснящемуся кафелю.

Наконец путь свободен. Но переводов из дому, на которые втайне надеялись, в ящике нет, и девушки выходят на улицу, быстро шагают по морозно хрустящей дорожке к троллейбусной остановке. До метро едут «зайцами». Молчат. И лишь внимательно вглядываются в лица пассажиров, входящих на остановках: не контролер ли?

В полукруглом вестибюле станции «Университет» Лена смущенно просит:

— Дай мне хоть копеек двадцать на дорогу.

Надя открывает кошелек, достает металлический рубль и некоторое время держит его на раскрытой ладони, рассматривает:

— Юбилейный, Лен... Последний. А щас разменяем, и все...

— Надька! Хватит нюни пускать! Раньше думать и жалеть-то надо было... Когда праздновали!..— Лена решительно берет с ладони рубль и идет к кассе.

На эскалаторе Лена стоит ступенькой ниже, положив голову ей на грудь. А она машинально скользит взглядом по фигурам людей, движущихся навстречу. Одежда разная, а лица одинаково непроницаемы, равнодушны. Они сплошным, непрерывным потоком плывут мимо, вверх, и редкое лицо задерживает взгляд, а если и задерживает, то все равно уплывает, как пейзаж за окном железнодорожного вагона: был и исчез навсегда...

Надя хватая Ленку за плечо, та вскидывает голову, смотрит удивленно.

— Да ты не на меня, ты туда смотри!

Лена поворачивается к ней спиной и сразу приветственно крутит ладошкой. Снизу к ним приближается «дрын» — так они с Леной называют между собой Серегу Коробкова, баскетбольного роста парня с их курса. Он наклонил голову и не видит их. Вот поравнялся. Перекрывая рокот эскалатора, Лена кричит:

— Коробков!

Серега вскидывает голову, и Лена мелко трет большой и указательный пальцы. Серега нервно крутит головой, потом высоко поднимает плечи, втягивает в них голову, выпячивает нижнюю губу и широко разводит руки.

Делать нечего, надо ехать...

Внизу, на станции, они расходятся. Их поезда идут в разные стороны: Лене — до «Юго-Западной», Наде — до «Проспекта Маркса». В вагоне она торопливо, чтобы никто не опередил, занимает одиночное сиденье в конце вагона, прячет подбородок в воротник пальто. С пересадкой — около часа езды...

Дядю Егора, когда она думает о нем, она всегда представляет не таким, какой он сейчас, а почему-то маленьким бойким мальчишкой: чумазым, с цыпками на руках, с царапинами на грязных коленках, торчащих из-под закатанных штанин не по росту широких брюк. Брюки перешиты из взрослых и держатся на широком солдатском ремне с одним «гвоздиком» в пряжке. Этот ремень до сих пор лежит в мамином сундуке.

...Тобол стремительно плетет длинные космы водорослей возле свай дощатого моста. Шестилетний мальчик и девочка постарше — по пояс в воде. Рыбчат. Таскают чебаков, нанизывают их за жабры на кордовые нитки, привязанные к поясам. Стараются наловить побольше: мамка на работе в совхозе, папка совсем недавно помер.

Вот мальчишке крупный попался, одной рукой он удочку тащит, другой к рыбе тянется — вдруг сорвется! Ползет под пяткой песчаный донный уступ, мальчишка удочкой неловко взмахивает и исчезает под водой. Девочка сразу ныряет за ним. Всплывают оба через несколько метров ниже по течению. Она тянет его на мелкое за руку, огребается одной рукой часто-часто, хоро-

шо хоть, ноги до дна достают, а у мальчишки на шее зеленая, толщиной в палец, веревочка водорослины, как галстук, в струе полощется. Мальчишка судорожно кашляет, брызги рябят воду, белые точки уплывают, а вокруг них уж вскипают бурунчики — рыбы пробуют.

...Баба Груша прикрывает половиками грядки в огуречнике, чтобы утром иней рассаду не заморозил.

...Жаркий день. Она возле грядок копошится, собирает первый урожай: лук и редиску. Мойет и укладывает пучки на дно корзинки, покрывает корзинку чистой тряпицей, идет на площадь возле церкви, садится там на толстый, не расколотый на дрова березовый комелек и раскладывает на тряпице зелень. Вдруг заезжие шофера купят? А ей все лишняя копейка. Соберется сколь-нибудь, вот и пошлет опять Гошке в Москву, в институт этот: поступил ведь все же после десятилетки — башковитый! Вот мама к ней идет. А баба Груша сидит-посиживает. Белый платок на лоб низенько опустила. Жара. Смола из досок выступает. И нос у бабы Груши весь в поту, как в бисере. Жалко маме бабушку. Садится рядом на корточках, спрашивает: «Ну чё ты, мама, парисься тут? Нету же никого!» — «А как жо, Валя-матушка? Вот после паужны прикатят, да, может, и купит кто...»

...Молодой дядя Егор с чемоданом по деревне идет. Спешит, только песок из-под ботинок брызжет. С дипломом приехал. Бабе Груше штапелю на платье привез, маме — голубую кофту. Радости сколько! Бежит баба Груша по соседям и всем толмит одно и то же: «Парничкя-то моего в Москве робить оставляют!..» И плачет, и утирает глаза, нос, уголки рта концом белого платка, туго завязанного под остреньким подбородком.

...И опять баба Груша по соседям бежит: «Егорушко зть же-нился! Повышение ему дают!» А сама опять плачет.

...И опять дядя Егор идет по улице. Большой желтый чемодан в руке несет. Важный! И опять подарки бабушке, маме. И опять слезы. «Почему один? Почему без жены? Почему Эленьку свою не привез, нам не показал?»

Все это было, когда ее и на свете еще не было. А вот листочек, который ей мама дала и сказала: «Беги, доченька, на почту, подай эту бумажку почтальонше и вот деньги тоже подай. Она

сама все знает, как сделать... Да сдачу взять не забудь! Слышишь? Беги ты скорее, роденькая моя!» — Она тот листочек будто до сих пор в руке держит. И зеленую трехрублевку тоже. И бежит босиком по песку, разметывая его пятками в стороны, спотыкается и опять бежит, а дорога плывет перед глазами, деревья двоятся от слез: умерла баба Груша! А на другой день мама держит в руках другой листок. И лицо у нее становится белое-белое, а платок на голове черный-черный. «Не может!» — стонет она и садится мимо табуретки. Отец подхватывает ее у самого пола, укладывает на кровать. И поднимает с половинок не один, а два листка. «Чтоб он подавился своими грошами!..» — кричит он и ругается матом. Старушки шикают на него, и он замолкает. Больше она никогда от отца про дядю ничего не слышала. Разве только в тот самый раз на первых летних каникулах еще...

Надя вскакивает и опрометью выбегает из вагона: проехала две остановки лишних! Она возвращается на нужную станцию, переходит на другую линию, и опять ей везет: есть пустое одинокое сиденье в конце вагона...

«Поезжай, дочка. Чем черт не шутит? И Егор, может, поговорит где следует. Все ж таки он тебе родной дядя. Я писала ему...» Она стоит перед матерью в белом форменном фартуке: через час последний звонок! И радуется, что поедет в Москву, и хочет увидеть дядю Егора, маминого брата, большого и очень занятого человека. Если бы не его пример, может быть, никогда не возникла в ее голове мысль об университете. Вот ведь смог же он? И она поступит!..

Когда Надя пришла в гости к дяде во второй раз, дверь ей открыла полная темноволосая женщина. «Тетя», — догадалась Надя. Она поздоровалась и спросила: «А дядя Егор дома? Я его племянница, Надя...» — «Здравствуйте-здравствуйте, Надя! — Тетя улыбнулась одними губами. — Меня зовут Эльвира Борисовна». — Она низко наклонила голову и в поклоне этом как бы оцупала взглядом Надю с ног до головы.

В прихожую вышел дядя. «Здравствуйте, дядя Егор! — обрадовалась Надя.— Я...» Она хотела сказать «поступила!», но вдруг осеклась и спрятала руки за спину, как провинившаяся школьница. Взглянула на Эльвиру Борисовну. Та многозначительно смотрела на дядю, но, поймав Надин взгляд, тут же благосклонно улыбнулась, прикоснулась к ее руке. «Надя, я вас очень прошу, не зовите его больше Егором. Мне не нравится это имя. Оно какое-то грубое.— Эльвира Борисовна все с той же улыбкой посмотрела на дядю.— Его все давно называют Георгием. Правда, это лучше?»

Надя совсем растерялась, покраснела, опустила глаза и боялась их поднять. Дядя спокойно сказал: «Эля, я тебя прошу... Приготовь кофе. Будь любезна...» Тетя ушла, а дядя шагнул к ней: «Что же ты стоишь? Проходи! Ну как? Тебя можно поздравить? — Надя кивнула.— Молодец! Молодец!» — Он потрепал ее по плечу. Потом поводит по квартире, накормил в огромной кухне бутербродами с очень вкусным мясом и напоил кофе. И все говорил о том, какая в Москве сложная жизнь, совсем не то, что в деревне, что к этому надо быть готовым и многое просто не принимать близко к сердцу. Надя слушала молча, благодарно взглядывала на него, и хотя рассуждения его не совсем понимала, все равно часто кивала.

Вернулась домой Люда, ее сестра-одногодка. Дядя их познакомил. И Люда повела Надю в свою комнату. Переодеваясь из джинсов в халат, Люда кивнула на распахнутую дверцу платяного шкафа: «Последний стон! Предок у меня фирмовый!» И это было так: у Нади разбежались глаза.

А потом они все вместе смотрели громадный цветной телевизор. Надя впервые видела такой: изображение — трудно передать словами, просто хочется смотреть, и все.

Потом тетя Эля и Люда за чем-то вышли. И она, забывшись, опять начала было: «Дядя Егор...» Тут же в комнату вошла, будто ждала под дверью, Эльвира Борисовна и опять сказала: «Надя, милая, я тебя уже просила, зови его Георгий! Неужели это так трудно?» Надя снова покраснела. Дядя весело хмыкнул, потрепал ее по плечу и сказал: «В самом деле, Наденька, я от Егора как-то уж и отвык. Зови меня просто дядей Жорой».

В первый год учебы она была у них еще раза два. «Приветы передать, мать же пишет», — убеждала себя, не сознавая в смутной для себя самой причине, что ходит, пряча неловкость, чтобы лишний раз посмотреть, как живут родственники-москвичи, почувствовать и свою причастность к этой жизни, непонятно чем влекущей и так же непонятно чем отталкивающей.

Хотелось Наде и поближе сойтись с Людкой, тоже студенткой. Но разговор у них как-то не клеился. И Люда, чтобы заполнить пустоту, то включала японский магнитофон и начинала танцевать или сидела в кресле, закрыв глаза, слушала возбуждающие ритмы, слегка подрагивая пальчиками по валикам кресла, то опять принималась показывать новые наряды. Давала примерить и Наде. И она, рассматривая себя в зеркало то в темно-синем вечернем платье с золотистым шитьем на правом плече, то в невесомом и почти прозрачном голубом — для пляжа, даже и не завидовала этому богатству — что толку? И лишь ахала неприглядно: как она во всем этом менялась!

Уходила с горьким чувством. А дядя, провожая, неизменно приглашал: не забывай, заходи!

Дома на первых летних каникулах она стала просить у отца деньги на джинсы. Отец отказывал. Тогда она вспомнила московскую двоюродную сестру как доказательство. «Людка, например, папочка, из джинсов не вылезит! Ясно?» — «И спит, поди-кось, в них?» — Отец улыбнулся так едко, что она взорвалась: «Да хватит тебе!» Отец стал серьезным: «У Людки-то твоей отец-то хоть знаешь кто?» — «Знаю!» — «Кто?» — «Ну, заместитель в каком-то главке или министерстве, я не знаю точно. Так что из этого? Теперь мне, выходит, и джинсы поносить нельзя?» — «Ну почему ж нельзя? Поносить, можно... — Отец снова улыбнулся. — Попроси у той же Людки да и поноси, сбей охотку...» Надя в первый момент даже не нашла, что сказать ему на это, лишь через несколько секунд выпалила: «Ты, пап, что думаешь, Москва — деревня, что ли?! Взял, как тут, на вечер платье у девочек да в клуб пошел? Ну ты даешь! Это же Москва-а-а!» — «Что Москва-Москва, я тоже понимаю, — сказал отец. — Да ведь и Людка, как ты говоришь, сестра тебе. Неужели ж по-сестрински на вечер штанов не даст?» Они долго смотрели друг на друга.

Надя только и сказала: «Ну ты, па-апка...» — «Да, папка! — жестко повторил отец.— И запомни! Нам с матерью вдвоем два месяца подряд работать надо, чтобы получить столько, сколько Людкин отец в одну получку приносит. Так что Людка твоя для меня не пример! — Он помолчал и сказал спокойнее: — Мы и так тебя не обижаем. Вон мать опять приготовила на пальто, на всякую шурум-бурум... А штаны эти за сто пийсят... Ты же девка! Пойми, не в деньгах дело! Но зачем под мужика-то подделываться?.. Мне на эти ваши штаны смотреть тошно...» — «Не смотри! Тебя никто не заставляет!» — «Нет, дочка, на штаны не дам!»

Надя хлопнула дверь. А вечером, вернувшись от подружки, которой жаловалась на жадного «предка», услышала тот самый обрывок разговора. Открыла дверь в дом и поймала обрывок раздраженной отцовской фразы: «...не тесть, дак не видать бы скотине всего это, как собственных ушей!» — «Вы про что это?» — с любопытством бросила она с порога в комнату, где были родители. Там замолчали. Она вошла. «Вы о чем?» Мать, не глядя на нее, торопливо вышла в кухню, вскоре хлопнула дверь в сени. «Что притихли сразу?» — спросила она у отца. Он, насупившись, молча сидел у стола, ковырял потрескавшимися пальцами в мятой, с темными замаслинами пачке «Беломора», выживал одну за другой полупустые папиросины, складывал в пепельницу. Наконец нашел целую. Прикурил, выпустил из ноздрей две голубоватые струи, буркнул: «Ничего, ничего...» — И отвернулся к окну. Надя хмыкнула и ушла в горницу. Но отцовская фраза запомнилась. Ей стало жаль мать.

К родственникам после тех каникул она не ходила, хотя и не говорила об этом матери. А мать каждый раз, провожая ее в Москву, наказывала: «Будешь у Егора-то, дак уж ты там смотри, привет-то от нас с отцом передавай!» Надя буркала: «Ладно, ладно!»

Вот уж несколько минут она стоит перед знакомой дверью, красиво обтянутой глянцевиной кожей, и все не решается позвонить. Ей почему-то чудится, что дверь обязательно откроет Эль-

вира Борисовна. Трижды поднимала она руку и уж совсем было касалась пальцем большой розовой кнопки. Но палец подрагивает, а кнопку не нажимает, лишь выбивает на ней осторожную дробь, и от этих касаний по ее спине прокатываются судороги. Страшно... Отчего так страшно? Она вдруг резко поворачивается, чтобы уйти, но тут же вспоминает недовольную мину на лице привратницы, сидящей за столиком перед лифтом, ее сердитое: «Дома!» — а потом Ленкины слова: «Ты же не сотню идешь у них занимать», — и так же резко поворачивается обратно к двери, вдавливая пальцем розовую кнопку. За дверью слышится приглушенная музыка.

Дверь распаивается широко. На пороге Люда. На этот раз не в джинсах, а в халате. Белый атлас плотно облегает ее грудь и тонкую талию, схваченную поясом с длинными широкими концами; подол халата переливчато сбегает складками до пола, а по белому полю маслянистой ткани пологими спиралями стекают от узких Людиных плеч к соломенному коврику ярко-красные розы, соединенные извилистыми нежно-коричневыми стеблями. Не убирая от дверного косяка руку, с локтя которой вольным треугольником свисает белый рукав, Люда почти так же мелодично, как звонок, тянет:

— О-о! Приве-ет! — И сразу плавно откидывается, оттолкнувшись рукой от косяка, но не отпустив его, поворачивает голову в глубь коридора, зовет через плечо: — Па-а! Ты посмотри, кто к нам пришел! — Секунду-две ждет ответа. Потом смотрит на Надю. — Что же ты стоишь? Проходи! — И отступает, давая дорогу.

Надя шагает в просторную прихожую и неожиданно для себя касается пальцем рукава халата.

— Прелесть какая!..

— Н-ну-у! Последний стон! Отец оттуда привез. — Люда неопределенно машет рукой. — А ты очень кстати. Нам человека не хватает. Раздевайся, пойдем. Втроем будет намного интереснее!

Ничего не понимая, но не решаясь спросить, Надя снимает пальто, расстегивает «молнии» на сапогах и снизу вверх поглядывает на Люду, смущенно улыбается. Та молча ждет и тоже улыбается одними губами. Наконец Надя распрямляется. В сек-

ции для обуви поблескивают тетины тапочки с загнутыми носами, Надя лишь скользнула по ним глазами, а Люда уже подталкивает ее в комнату...

Прежде чем войти, Надя задерживается у порога, слегка наклоняется за косяк, будто заглядывая только на минутку. Это дядин кабинет — большая комната с широким окном. Возле окна блестит полированной столешницей двухтумбовый письменный стол, на нем стоит только телефон. Вплотную к столу придвинуто красивое и, наверное, очень удобное кресло. Его гнутые деревянная спинка и подлокотники отливают спелой вишней. На стене висит довольно большая картина: пушистый кот, игриво завалившись на бок, пытается зацепить лапой клубок оранжевых ниток. Картина завораживает, и Наде каждый раз хочется посмотреть на нее подольше, чтобы уловить какую-то всегда ускользающую от нее мысль, но рассматривать долго и сейчас неудобно.

— Здравсьте, дядя Жора! — Она улыбается, но кожа на лице будто затвердела, и она с сильной внутренней неловкостью чувствует каждый ее изгиб, каждую клеточку. И так, замерев, смотрит на дядю, боясь сделать какое-либо следующее движение. А он со звоном шмякает на журнальный столик перед собой какой-то мешочек и широко разводит руки в стороны:

— Ба-а! Сколько лет!

Дядя тоже в халате, только коричневом. Расставив голые ноги с крепкими икрами, он вольно утопает в мягком кресле. Напротив, через столик, стоит такое же кресло — Людино. А на столике лежит непонятная таблица, оттиснутая на белом целлофане. Несколько кругов-эллипсов, один в одном, уменьшаясь к центру, разбиты радиальными чертами на секторы, и в каждой клетке — цифры: черные или красные. Нижнюю половину первого, самого большого эллипса образует широкая яркая дуга — слева черная, справа красная, а на верхней половине, поделенной чертой пополам, написано — «четная», «нечетная». В квадратиках по бокам этого эллипса нарисованы жирные черные «ноли». На цифрах по таблице там и сям лежит по одному-два желтых или синих квадратика. На правом «ноле», с дядиной стороны, желтые квадратики ребрятся столбиком. Возле таблицы стоит квадратный ящичек из ярко-голубой пластмассы. Середина ящич-

ка выдавлена наподобие глубокого блюда. Блюдо это напоминает и часы: в центре его играет никелем похожее на стрелки металлическое перекрестие, а по дну идет круг цифр, тоже черных и красных, попеременно, как на таблице.

Смущенная дядиным «сколько лет», Надя хочет выдать Ленкино «семинары, сессии, стройотряды», чтобы одним махом оправдать пропажу на полтора года, но дядя, видно, уж и забыл свой возглас. Он призывно машет кистью.

— Садись, садись! Сейчас мы тебя будем приобщать!

Люда приносит стул, и Надя садится, спрятав скрещенные ступни поглубже под сиденье, сцепив на коленях руки. Люда устраивается в своем кресле с ногами, безжалостно смяв халат. Перегнувшись через валик и достав с пола мешочек, который звякнул так же, как у дяди, она говорит:

— А мы с отцом пообедали и решили устроить маленькое Монте-Карло.— Она показывает рукой на журнальный столик с таблицей и голубым ящичком. Надя вопросительно вскидывает брови:

— Как это?

— Н-ну-у! — Люда смотрит на нее с наигранной укоризной.— Про Монте-Карло не слышала?!

Надя отрицательно качает головой. Она и в самом деле не слышала про это «монтекарло», и ей становится неловко, как будто ее уличили в чем-то нехорошем. А Люда говорит:

— Ну как же? Там же Федор Михайлович Достоевский в пух проигрывался! Тебе-то, филологу...

Надя чувствует, что краснеет. Она любит Достоевского. Его «Подростка» перечитывала несколько раз и каждый раз над книжкой плакала.

Опустив глаза, Надя говорит:

— Так это город... Но он там вроде не бывал. Что-то я не читала про это нигде... Баден, может?

— Да-а? — На лице у Люды удивление.

— Милые мои, а не пора ли нам к нашим баранам? — говорит решительно дядя и неожиданно подмигивает Наде, как бы призывая ее в союзники, и показывает глазами на таблицу.— Сидим вот с дочурой и на этом детском варианте пытаемся пред-

ставить, как проводят свободное время гнилые господа капиталисты. Да что-то скучновато вдвоем...

— А Эльвира Борисовна где?

— В Карпатах! В маленьком уютном домике.— Дядя улыбается.— Захотелось, видишь ли, Эльвире Борисовне в Карпаты... Ну к делу? Люда, объясни сестре принцип игры...

Люда как-то странно, не то удивленно, не то осуждающе, смотрит на отца, и Наде становится опять неловко и хочется уйти. Но Люда принимается быстро, с удовольствием описывать правила рулетки: могущество «зеро» (ноля), ставя на которое десять копеек, можно выиграть два с полтиной, более скромное значение «красного» и «черного», дающих только двойной выигрыш...

Надя не может сразу все запомнить, но все же почему-то отмечает про себя, что если и решаться на игру, то лучше всего ставить на второй круг: здесь сколько ставишь, столько и проигрываешь. На всякий случай она говорит:

— Вы играйте, а я посмотрю сперва, поучусь...

— Ну что тут учиться?! — Люда снова смотрит недовольно.— В процессе освоишь! А впрочем, как хочешь... Пап, я банку!

Вывернув кисть, она с силой крутит никелированное перекрестие, и донышко голубой чаши стремительно вращается, цифры на нем сливаются в радужный круг, а по бокам чаши энергично прыгает, тоже вращаясь, маленький блестящий шарик. Надя как замороженная не может оторвать от него глаз. Люда и дядя тоже напряженно наблюдают за его полетом. Шарик летает все медленней, медленней. Наконец донышко останавливается, и шарик замирает в одной из выемок с цифрой «семь», Люда хлопает в ладоши.

— Плакало твое «зеро»! Гони фишки, па! — Она смахивает к себе желтый столбик с дядиного «ноля», быстро пересчитывает.— Восемь! С вас двадцать рубчиков, сэр! — Она галантно кланяется отцу. Дядя вскидывает подбородок, прикрывает глаза, мол, что поделаешь? И, запустив руку в мешок, вытаскивает горсть гривенников. Пересчитывает, складывая перед собой, достает еще, потом еще, наконец демонстративно опускает в кучу серебра последнюю монету и начинает горстями «сливать» звон-

кие струйки в Людин мешок. На все это действие Надя смотрит с удивлением и страхом.

— Ну вот и все! Что тут непонятного? — говорит Люда. — Усекла?

Надя пожимает плечами. Звон монет и этот удивительный страх, не совсем и на страх-то похожий, подействовали на нее гипнотически. Она и верит и не верит, что это она тут сидит и все это видит. Все это как в кино.

— Ну так что, будешь? — спрашивает Люда.

И она вдруг решает: была не была! А вдруг повезет? Тогда все — они с Ленкой живут! А если... Мысль такая неприятная, что сосет где-то под ложечкой. Но она отгоняет ее, успокаивая себя: а если все-таки выигрыш?

— Попробовать можно, — говорит она. — Только у меня денег-то с собой... — Она мнетя и тут же, чтобы сгладить неловкость, смешно, страдальчески шмыгает. — С гулькин нос...

— Ерунда! Сколько есты! — решительно говорит Люда. — Держи! — Она подает Наде десяток круглых красных фишек. — Это будут твои. Каждая — десять копеек. Ставьте!

Надя кладет свой красный кружок на второй эллипс, прямо на цифры «1—18». Люда опять сильно крутит перекрестие, и они, все трое, впиваются глазами в мечущийся по рулетке шарик. Он опять все замедляет и замедляет бег и останавливается на цифре «12».

— Ну вот, сразу и повезло! — Люда протягивает Наде свою синюю фишку. Это так неожиданно и так приятно, что Наде хочется захлопать в ладоши, но она сдерживается, и лишь довольная улыбка растягивает ее губы, и справиться с ней нет сил! Она еще раз ставит на то же место красную фишку и снова выигрывает. Потом еще раз. Дядя говорит, улыбаясь:

— Фартит! А как в любви? — Он смотрит на нее в упор, и в улыбке его что-то такое, отчего Надя краснеет, но она так рада выигрышу, что невольно смеется:

— Нормально!

— Тогда порядок! — подытоживает дядя. — Дочура вот тоже не жалуется. А нам, старикам, и в игре не всякий раз. А в любви... — Он поднимает глаза к потолку.

— Хватит вам про ерунду! Ставьте! — В глазах у Люды — нетерпение.

Все опять ставят на таблицу свои фишки. Надя кладет две на прежнее место: оно кажется ей самым счастливым. И точно: снова выигрыш! Это уже кое-что. «В кармане семьдесят пять да пять этих...— подсчитывает она про себя.— Вот бы Ленку сюда!» — Она чуть не говорит последние слова вслух. Внутри у нее все так и дрожит. Поверив в счастье, она решительно ставит на «свой круг» — она так и говорит: «Я опять на свой!» — сразу три красных кружочка. Люда со всегдашним сильным вывертом стрижет пальцами по перекрестью, и Надя с замершим сердцем впивается взглядом в шарик. Он, кажется, вот-вот выпрыгнет из голубой чаши, и ей почему-то хочется даже, чтобы он выпрыгнул, хочется устремиться за ним, блестящей точкой, куда-нибудь под стол, как за мячиком в детстве. А он все замедляет и замедляет свои неровные скачущие круги, вот уж стучит боками по гнездам цифр, вот уж и цифры можно различить, почти остановился, но еще — цок-цок! — «31». Люда молча забирает у Нади три своих синих фишки. А дядя выиграл целых шесть синеньких. «Спокойно, спокойно,— приказывает себе Надя.— Это только так, это только в этот раз...»

Она ставит еще две фишки на «свой круг» и опять проигрывает. А дядя, правда, немного, но опять выиграл. Люда достает с пола сигареты и закуривает. Надины руки становятся влажными. В уголок рта Люда с силой выдувает струю дыма и приказывает ставить. Надя торопливо кладет два кружочка на «красное» и два — на «свой круг». Шарик в этот раз кружится, кажется, бесконечно. Но вот почти остановился, и Надя кричит:

— Четырнадцать! — И хлопает в ладоши. А шарик вдруг опять передвигается дальше, и Люда холодно говорит:

— Не четырнадцать, а двадцать пять. Черное. Надо лучше смотреть.

Надя низко склоняется над рулеткой и так напряженно рассматривает цифры рядом с шариком, будто хочет передвинуть его взглядом обратно на ту, почудившуюся ей красную, но — он лежит на «25». Надя откидывается к спинке стула.

— Продуваться начинаю,— говорит она и чувствует: голос охрип. Дядя улыбается весело и ободряюще кивает:

— Ну-ну! Ничего... Фортуна — дама капризная, но ты не унывай. Она же на всех одна! Надо только ждать, быть терпеливым. Но... — Он поднимает вверх указательный палец. — Не бездумным! А главное: учишься рисковать. Кто не рискует, тот не выигрывает.

Смысл дядиных слов не доходит до Нади, она лихорадочно прикидывает, куда ей поставить, чтобы начать отыгрывать свои красные кружочки, которые лежат перед Людой. Ей хочется даже забрать их просто так, не играя больше... Рука ее подрагивает, а губы хочется скривить, но она, сдерживая себя, хмурится, делает вид, что напряженно думает.

Дядя вдруг предлагает:

— Давайте, девочки, кофейку выпьем?

У Нади при упоминании о кофе начинает сильно сосать под ложечкой, и ощущение это сильно похоже на чувство только что испытанного азарта. Люда резко отмахивается.

— Брось ты, па! Ну его к черту!

— Нет-нет, приготовь, пожалуйста! Я тебя очень прошу.

Фыркнув, Люда уходит на кухню. Дядя задумчиво смотрит ей вслед, некоторое время молчит, опустив голову и вращая большими пальцами сцепленных рук. Наконец спрашивает:

— Ну как там мама?

Внутреннее напряжение так сильно, что Надя не знает, что говорить. Она коротко взглядывает на него и тут же опускает глаза, поправляет юбку. Дядя торопливо уточняет:

— Твоя мама... Сестра!

— Да ничего, бьется помаленьку. Болеет только... С желудком у нее что-то. — Надя боится поднять глаза.

— Что ж не лечит?

— Да, говорит, некогда все. То то, то это... Летом то дрова, то сено. А зимой, сами знаете... — Надя запнулась, подумав вдруг, что дядя, наверное, и забыл совсем, как там зимой, в деревне. А он говорит задумчиво:

— Да-а, в деревне так... То то, то это... Это у нас тут время иногда выдается. Но... тоже... — И вдруг крепко сжимает, почти

сминает пальцами мягкий подлокотник кресла. — Надежда! — Дядя Егор смотрит на нее в упор: — Понимаешь ли, сейчас ты, как ниточка, пос... мотри-ка, что она сотворила! — Он улыбается, указывая взглядом за ее спину.

В дверях стоит Люда с подносом. На нем — три маленькие чашечки. Из медной, чеканенной по бокам джезвы вьется тонкая струйка пара. Люда ставит поднос на столик рядом с рулеткой, разливает кофе по чашечкам. Терпкий запах щекочет в ноздрях. Надя опускает голову. «Ниточка, ниточка, ниточка... при чем здесь?» — Она смотрит, как дядя и Люда берут чашечки, берет и свою, делает глоточек, учтиво роняет:

— Вкусно как...

— Пей, пей! — говорит добродушно дядя. После каждого глотка он ставит свою чашечку на широкую ладонь. — Такой не везде попробуешь.

— Господа! Не расслаживаться! Нас ждет рулетка! — Люда уже выпила кофе и смотрит на них, подняв поднос, ждет, когда они с дядей отдадут ей чашки. Потом ставит поднос на пол, заносит руку над перекрестьем, указывает взглядом на таблицу.

У Нади осталось всего четыре фишки, и она бегаёт глазами по таблице, прикидывая, куда бы поставить теперь?

— Ну? — говорит Люда.

И вдруг Надя кладет все четыре на «черное». Тут же опять протягивает руку, чтобы забрать обратно хотя бы две, но Люда строго говорит:

— Ставка делается только один раз!

Резко, как от горячей плиты, Надя отдергивает руку. Дядя опять ставит столбик на «ноль». Люда крутит ручку. Надя закрывает глаза. «Хоть бы черное, хоть бы черное, господи, хоть бы черное...» — повторяет она про себя под звонкий бег невидимого шарика. Он звенит все тише, тише. Вот его и не слышно.

— Вы в ауте, Людмила Георгиевна. С вас... Сейчас, сейчас! Надя открывает глаза.

Дядя пересчитывает фишки на ладони. Поднимает сжатый кулак и потрясает им.

— Пятнадцать жетонов! — Не размыкая растянутых в широченную улыбку губ, торжествующе хохочет, с хрипотцой растя-

гивая заключительное «хм-м». — Тридцать семь пятьдесят! У вас, Людмила Георгиевна, синенькие еще есть? Да откуда им взяться?! Передавайте банк! И сразу прошу расчет!

У Нади кружится голова. Люда хмуро вытряхивает из своего мешка на стол кучу серебра и долго отсчитывает гривенники, перекладывая их горстями на дядин край стола.

— Можешь не проверять! — наконец говорит она. — Я не люблю оставаться в долгу! А с вас... — Она взглядывает на Надю, потом быстро прыгает пальцем по красным кружочкам перед собой. — С вас, мадам, рубль шестьдесят! Прошу расчет!

Надя откидывается к спинке стула и, не мигая, смотрит на красные кружочки. Становится все безразлично. Дядя хочет что-то сказать, но, мельком взглянув на Люду, начинает демонстративно отодвигать от лежащей перед ним кучи монету за монетой.

— Ты-то, может, долгов и не любишь, да денежки счет любят, — шуточно говорит он. Люда вскидывает голову.

— Обижаете, сэр!

Надя поднимается и, как во сне, идет за своей мелочью. В коридоре она достает из кармана пальто деньги, смотрит на них и чуть не плачет. И вдруг ее охватывает ужас. «Господи, сколько она сказала?! Рубль шестьдесят?! А у меня-то...» — Она краснеет и быстро сует руку в рукав пальто, стоит секунду без движения и поспешно выдергивает руку, вешает пальто на место. В кабинет она входит со сжатыми кулаками: в одном — семьдесят копеек, в другом — пять, на метро. Дядя и Люда сидят, опустив головы, но тут же вскидывают на нее глаза. Она садится на стул, поджав ноги, высыпает перед Людой мелочь.

— Больше нет... Я говорила...

Люда наклоняет голову и медленно, словно задумавшись, начинает сдвигать пальцем в пригоршню, прислоненную к столу, одну монету за другой. И все так же, не поднимая глаз, высыпает деньги в мешок.

Телефон на письменном столе звонит так неожиданно и громко, что Надя вздрагивает. Люда с любопытством вскидывает голову. Дядя быстро встает, оттолкнув ногами кресло, решительно берет трубку.

— Слушаю!.. А-а, это ты. Добрый день...— Он расслабляется, свободной рукой берется за гнутую спинку кресла, отодвигает его и садится, откинувшись, глядит в окно.— Да... Нет, вдвоем с дочкой...— Надя сжимается, будто на нее замахнулись. А дядя продолжает: — Какое?.. А-а, слышал, слышал. Мне кто-то говорил... Я? Никак... Да потому что меня это не интересует... Ну и что?.. В чем?.. Зря рассчитывал! Времена изменились, ты, надеюсь, это понимаешь?.. Никаких «но»... Думай так, как тебе удобней. Бывай!

Дядя кладет трубку и переходит к столику.

— Кто это? — спрашивает Люда.

Дядя пренебрежительно кривит губы.

— Так, старый знакомый... Из тех, кто не умеет ждать... Болван! — Дядя берет мешок, подкидывает его на ладони, будто взвешивая: — Ну-с, можно банковать? Прошу обозначить ставки! — Он смотрит на Надю.— А ты? Ах, да!.. — Он запускает руку в мешок и высыпает перед Надей горсть монет.— Выиграешь, отдашь! — И, не дожидаясь ответа, берется за перекрестие. Надя робко, словно поправляя монеты, отодвигает от себя деньги.

— Я...

Опять звонит телефон...

— Ч-черт! — с раздражением говорит дядя. Однако встает так же быстро, как и перед этим. Он берет трубку. Голос его спокоен, уверен, громок.

— Слушаю! — И тут же повторяет изменившимся тоном, быстрее: — Слушаю! Да-да! — И Надя видит, как напряглась его спина, а свободная рука, сжатая в кулак, ложится на поясницу.— Игорю Марковичу? Да-да, могу. Займусь в понедельник... Да-да, сразу же, как только приду на работу... Сколько?.. Хорошо-хорошо... Да-да, я все понял... Всего доброго...

Дядя стоит некоторое время, оперевшись на стол обеими руками, и глядит в окно, затем возвращается к журнальному столику, грузно садится в кресло, кладет на колени мешочек, но смотрит отрешенно, куда-то в себя. Очнувшись, он поднимает глаза на Надю и спрашивает так, словно думал только об этом:

— Ты, Наденька, как будто не в себе? Что-то случилось?

— Да нет, дядь Жора, у меня...— Она чуть запинаятся.— Все ладом...

Дядя секунду внимательно, будто впервые видя, смотрит на дочь, потом закусывает верхнюю губу так, что нижняя сильно оттопыривается, а подбородок морщится, высоко поднимает голову, прищуривает глаза; взгляд его туманится, он шумно вздыхает и повторяет протяжно:

— Ла-до-ом... Наше словечко... Сибирское...

— Не только! — говорит Люда. Но дядя вяло машет рукой:

— Сколько же я там не был? Двадцать?.. Или больше?..

Н-нда-а-с, летит время... Мчит! — Это «мчит» он цедил сквозь зубы. Проводит рукой по лицу, будто смывая что-то.— Ты ведь, Наденька, наверное, знаешь, я даже на похороны матери не смог поехать... Был, понимаешь, был занят так, что...

Надя быстро, будто перед ударом, нагибает голову, но тут же коротко, исподлобья взглядывает на него. Он ловит этот ее воробьятый взгляд.

— Как там могилка, ты не в курсе?

— Это мама...

Надя поднимается так стремительно, будто внутри у нее распрямилась пружина. Стул чуть не падает, но она успевает схватить его за спинку.

— Пойду я... Пора... Меня подруга ждет...

Люда взглядывает на отца и говорит Наде почти с вызовом:

— Оставайся! Поиграем еще! Можно же в конце концов и просто так, без денег!

— Нет-нет! — Надя боком отступает к двери. И повторяет за чем-то: — Меня подруга ждет...

Дядя встает, двинув ногами кресло так же решительно, как к телефону, смотрит пронзительно прямо в глаза, лицо почти бесстрастно, лишь губы чуть-чуть тянет непонятная, то ли едкая, то ли скорбная, усмешка ли, улыбка ли...

— Надежда! Может, надо чего-то? Может, денег возьмешь? М-м?

Надя густо краснеет, трясет головой.

— Нет-нет! Что вы?! Ничего не нужно! — И добавляет едва слышно: — До свидания...

Дядя молча чуть склоняется вперед, то ли чтобы уловить шепсел ее губ, то ли чтобы снова сесть в кресло — кажется, чтобы сесть...

Надя выскакивает из кабинета в коридор.

Вслед за ней выходит Люда. Надя уже в пальто. И Люда, натянуто улыбаясь, щелкает замком, распахивает дверь.

Быстро, почти бегом, Надя проходит по широкой площадке к лифту, нажимает кнопку вызова. Внизу звонко, раскатисто щелкает пастуший бич, и лифт, ровно гудя, идет вверх, к ней. Едва двери его распахиваются, она опрометью вбегает в кабину, нажимает кнопку хода и с маху тыкается в угол, спрятав лицо в ладони.

Темнеет. Ветер бросает в лицо колючий снег. И она ниже наклоняет голову, крепче прижимает к груди четвертушку черного хлеба, который только что купила в булочной на последний пятак. Она так с ним и ушла. И по дороге, в автобусе, не переставала корить себя за то, что не выложила его перед Людой вместе с остальной мелочью: пусть бы подавилась! И как было бы сладко еще сказать: «Бери, бери последний!..» Хорошо, что не было контролеров...

Скрипит под каблуками снег, и очень хочется откусить от четвертушки, но она терпит: в комнате, с Ленкой...

Вот и корпус. Желтеют заиндевшие окна холла и еще несколько окон на разных этажах. В остальных темно. На втором тоже.

Надя не успевает придержать входную дверь, и она, спружинив, громко хлопает. Ну все, сейчас опять получит выговор от тети Клары.

За вахтерским столом никого нет. И она перебирает несколько затертых писем и почтовых переводов в ячейке на свою букву, потом — на Ленкину, хотя и так ясно, что почты не было.

В коридоре на втором этаже так темно, что он еще больше похож на тоннель. Даже по запаху. На ощупь, по стенке, она пробирается к своей комнате. Вдруг сердце тоскливо сжимается: а если Ленки еще нет? Ключ у нее... Но сквозь щель в притворе

пробивается свет: дома! Она толкает дверь и устало прислоняется к косяку. Ленка спала, но тут же вскакивает, точно из кровати ее выбрасывает катапульта.

— Наконец-то! — И, подлетев к Наде, сразу отщипывает от четвертушки корочку, жует.

— Подожди ты! — недовольно говорит Надя. — Давай хоть кипяточку согреем.

— Мочи нету! — Ленка морщится. — Знакомство не состоялось. Поцеловала ручку двери и — привет родичам! А у тебя как?

Надя молчит, раздевается и достает из шкафа закопченный алюминиевый чайник. Лена тоже замолкает, наблюдает за ней.

Снова ощупью и все так же молчком они пробираются к кухонной двери и, едва распахивают ее, понимают: на плите варится картошка. От кастрюльки, освещенной снизу голубой астрой горящего газа, идет одуряюще вкусный дух. Лена стонет:

— Чья это?

— Не наша...

— Ладно, черт с ней! Хорошо, что хоть стоит, а то бы и чайник не смогли поставить. Спичек-то нет...

Лена включает на кухне свет, отрывает от мятой газеты клочок и, запалив его от горячей конфорки, зажигает другую, ставит чайник. Надя забирается на широкий подоконник прямо с ногами и, привалившись спиной к косяку, смотрит на редкие прямоугольники светящихся окон противоположного корпуса. Лена точно так же садится напротив, охватывает колени руками.

— Ну, рассказывай!

Надя долго молчит и смотрит в окно. Потом переводит взгляд на Лену.

— Ты же помнишь, как мы на первом курсе были, — говорит она. — Я же его тогда совсем-совсем другим представляла! Если бы не он, я бы теперь не знаю что. Я бы, наверно, сюда никогда не поехала. Он же был как маяк. Мама мне, когда я еще маленькая была, сколько про него рассказывала...

Она говорит все быстрее и быстрее. Говорит про мальчишку с синяками на коленях, про чебаков, про желтый чемодан, про бабу Грушу, про трехрублевку... Говорит и захлебывается словами...

— Не в том дело, что не покормили, совсем не в том! Это ерунда, это бог с ним! Но ты понимаешь что, понимаешь что?! Это же пропасть ведь! Пропать, пропасть! В нее лететь и лететь — и до дна не достанешь! А я не видела, до сих пор не видела! Ничего-шеньки не видела! И только сегодня, боже мой!.. Ты, говорит, ниточка, и тут же — другой!..

Она трясет головой, и волосы веером летают вокруг лица. На щеках блестят слезы. Лена смотрит на нее во все глаза и вдруг кричит:

— Перестань, перестань, перестань! Слышишь?! Перестань! Хватит! Перестань! Да перестань же, я тебя прошу! А то я щас сама разревусь! — Она надувает губы, и в глазах у нее появляются слезы. Она наклоняет голову, потом вскидывает ее и смотрит на Надю так пронзительно, будто хочет заглянуть внутрь: — Ты прости меня, ладно?!

Надя изо всех сил старается выдержать этот Ленин взгляд, но слезы застилают глаза, мешают, она вытирает их сразу обеими руками и шепчет:

— Ты-то тут при чем?

Слышно, как шипит газ в конфорках, побулькивает в кастрюле картошка и тихонько сипит, закипая, чайник.

Дверь вдруг резко растворяется, и в кухню входит тетя Клава. Она смотрит на них так, будто все про них знает, и качает головой.

— Ох, девки вы, девки! — говорит она. — Драть вас некому и мне некогда! — И сразу без перехода. — На первом этаже плита забарахлила. Мне еще наверх надо. А вы слейте с картошки воду да отнесите на мой стол. Посидите там на вахте, посмотрите, чтобы кто чужой не зашел.

Лена, пряча покрасневшие глаза, отворачивается к окну, бурчит:

— Мы, между прочим, не обязаны.

Тетя Клава незлобиво передразнивает ее:

— Между прочим... А поесть-то, между прочим, хочешь, поди? Вот и делай, что велят. Да чайник-то свой захватите тоже, пригодится после картошки. А я щас спущусь к вам.

Она уходит, шаркая в темноте валенками, ворчит:

— Ведь звонила же днем электрикам...

Они спускаются на первый этаж с кастрюлей и чайником. Надя остается за столом, а Лена убегает в комнату за хлебом. Возвращаясь, она вырывает из подшивки газету и расстилает ее на столе, кладет хлеб, ставит кастрюльку с картошкой.

Возвращается тетя Клава, смотрит на газету и осуждающе качает головой, но ничего не говорит, а отодвигает в сторону их четвертушку, достает из тумбочки свою полубуханку.

— Режьте! А этот вам завтра пригодится.

Обжигаясь, перебрасывая картошку с руки на руку, они упекают ее, горячую, с парком, и картошка эта кажется им самым вкусным из всего, что они пробовали за свою жизнь. Тетя Клава ест не торопясь и рассказывает им, что младший ее, Володька, девятиклассник, был два дня назад на дне рождения у знакомой девчонки; стояли на балконе, он хвалился, что пойдет служить в десантные войска, а эта лахудра возьми и брякни ему, мол, какой из тебя десантник, отсюда, со второго этажа, и то спрыгнуть не сможешь, он, не того слова, сиганул да ногу-то и сломал...

— Дура ненормальная! — говорит Ленка.

— Вот именно, что ненормальная, — подтверждает тетя Клава. — А мне, как назло, сегодня в сутки. Он там в гипсе, а я... Вся душа изболелась. Отец, он и есть отец, спит, а ему и воды подать некому. В больнице-то не остался...

Надя уже любит эту женщину, ей жаль ее, она предлагает:

— Теть Клав, а вы идите к нему! Мы за вас посидим!

Вахтерша качает головой.

— Нет, девочки... А вдруг проверка?

Она замолкает и горестно смотрит в узоры на морозном стекле.

Там, за этими узорами, темная, холодная ночь. И всем троим хочется, чтобы она побыстрее кончилась и наступило утро, а за ним — ясный день.



СОДЕРЖАНИЕ

Дядька Селёма	3
День позади, день впереди...	26
Высота	54
Надевайте тапочки	64
Заграничная игра	82

Леонид Григорьевич КРОХАЛЕВ

ДЕНЬ ПОЗАДИ, ДЕНЬ ВПЕРЕДИ

Ответственный за выпуск **В. Кирюшин**

Редактор **И. Митрофанов**

Художественный редактор **Г. Комаров**

Технический редактор **Н. А. Александрова**

Корректоры **Т. Пескова, В. Назарова**

Сдано в набор 10.08.88. Подписано в печать 17.02.89. А 00827. Формат 70×108 1/32. Бумага кн. журн. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 4,9. Усл. кр.-отт. 5,42. Учетно-изд. л. 5,8. Тираж 75 000 экз. Цена 35 коп. Издат. № 172. Заказ 8—352.

Ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул. 21.

Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМУ «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пардоменко, 38—44.

